

БИБЛИОТЕКА



КРИМИНОЛОГА

Чезаре Беккариа

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ

Москва
ИНФРА-М
2004

УДК 343.9
ББК 67.51
Б42

Составитель серии «Библиотека криминолога»
доктор юридический наук В.С. Овчинский

Серия печатается в современной орфографии
с незначительными сокращениями и редакцией

Б42 **Беккариа Ч.**
О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. — М.: ИНФРА-М, 2004. — VI, 184 с. — (Библиотека криминолога).

ISBN 5-16-001961-8

Книга великого итальянского гуманиста и реформатора уголовного права Чезаре Беккариа (1738–1794) перевернула правовое мышление XVIII века и более 200 лет является идеологией построения уголовной политики для всего цивилизованного мира.

Работа печатается с оригинала книги, изданной в СССР в 1939 в году в переводе профессора М.М. Исаева.

Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

УДК 343.9
ББК 67.51

ISBN 5-16-001961-8

© Составление, предисловие. В.С. Овчинский, 2004
© Оформление. ИНФРА-М, 2004

Содержание

Предисловие составителя серии «Библиотека криминолога» V

Историко-биографический очерк

<i>Глава I.</i> Родина Беккариа	3
<i>Глава II.</i> Отчий дом. Годы ученья в колледже и университете. Отношение Беккариа к юристам	10
<i>Глава III.</i> Женитьба. Взгляды Беккариа на семью. Занятия просветительной философией	18
<i>Глава IV.</i> Дружба с братьями Верри. «Миланская колония французских энциклопедистов». Журнал «Кафе»	26
<i>Глава V.</i> История написания книги «О преступлениях и наказаниях»	31
<i>Глава VI.</i> Памфлет монаха Факинеи. «Ответ» братьев Верри	39
<i>Глава VII.</i> Книга Беккариа становится известной Европе. Перевод книги в редакции Морелле	46
<i>Глава VIII.</i> Парижская поездка	53
<i>Глава IX.</i> Заботы Беккариа об устройстве своей судьбы. Причины, которые могли побудить его отказаться от дальнейшего переиздания своей книги	59
<i>Глава X.</i> Чтение лекций по политической экономии. Переход на административную службу. Последние годы жизни	63
<i>Глава XI.</i> Внутренний план книги «О преступлениях и наказаниях»	69
<i>Глава XII.</i> Язык книги	76

О преступлениях и наказаниях

К тому, кто читает	85
Введение	88
§ I. Происхождение наказаний	89
§ II. Право наказания	90
§ III. Выводы	91
§ IV. Толкование законов	92
§ V. Темнота законов	94

§ VI.	Соразмерность между преступлениями и наказаниями	95
§ VII.	Ошибки при установлении меры наказаний	97
§ VIII.	Подразделение преступлений	98
§ IX.	О чести	100
§ X.	О поединках	101
§ XI.	Об общественном спокойствии	102
§ XII.	Цель наказаний	103
§ XIII.	О свидетелях	104
§ XIV.	Улики и формы суда	105
§ XV.	Тайные обвинения	107
§ XVI.	О пытке	108
§ XVII.	О государственной казне	113
§ XVIII.	О присяге	114
§ XIX.	Незамедлительность наказаний	115
§ XX.	Насилия	116
§ XXI.	Наказания для дворян	117
§ XXII.	Кражи	118
§ XXIII.	Бесчестье	119
§ XXIV.	Тунеядцы	120
§ XXV.	Изгнание и конфискация	121
§ XXVI.	О духе семейственном	121
§ XXVII.	Мягкость наказаний	123
§ XXVIII.	О смертной казни	125
§ XXIX.	О взятии под стражу	131
§ XXX.	Процесс и давность	133
§ XXXI.	Преступления, трудно доказуемые	135
§ XXXII.	Самоубийство	138
§ XXXIII.	Контрабанда	140
§ XXXIV.	О должниках	142
§ XXXV.	Убежища	143
§ XXXVI.	О назначении цены за голову преступника	144
§ XXXVII.	Покушения, сообщники, безнаказанность	145
§ XXXVIII.	Наводящие вопросы; показания	146
§ XXXIX.	Об особом роде преступлений	148
§ XL.	Ложные понятия о пользе	149
§ XLI.	Как предупреждать преступления	150
§ XLII.	О науках	151
§ XLIII.	Власти	153
§ XLIV.	Награды	154
§ XLV.	Воспитание	154
§ XLVI.	О помиловании	155
§ XLVII.	Заключение	156
Приложение I	157
Приложение II	158
Приложение III	178

Предисловие составителя серии «Библиотека криминолога»

Чезаре Беккариа (1738–1794) — великий итальянский гуманист и реформатор уголовного права. Ч. Беккариа родился 15 марта 1738 года в находившемся тогда в австрийском владении Милане, воспитывался в колледже иезуитов в Парме, в 1764 году был удостоен ученой степени доктора права в Павианском университете. В возрасте 26 лет он опубликовал небольшой труд под названием «О преступлениях и наказаниях». Эта маленькая книга была прочитана по всей Европе и, несмотря на сильнейшее давление теологических и юридических институтов, встретила широкое одобрение, стала духом времени, которому она соответствовала, движения просвещения XVIII столетия.

Надо отчетливо представлять себе время, в которое было создано это бессмертное произведение. По оценкам историков, «в родном городе Беккариа, численность которого составляла в его время около 120 000 человек, в 1742–1762 годах более 77 000 человек находилось в тюрьмах или было приговорено к смерти. В отдельные дни в городе проводилось до шести смертных казней». И в этом «царстве тьмы» рождается манифест правового гуманизма, положения которого не устарели и в XXI веке.

Исходный пункт книги Ч. Беккариа основывается на размышлениях его соратника по времени Жан-Жака Руссо (1712–1778), который считал, что государство возникло на основе договоров свободных людей, а именно с целью сделать, по возможности, всех людей счастливыми. Поэтому любой акт насилия власти, который навредил бы без необходимости счастью людей, является «тираническим». В соответствии с этим, по Ч. Беккариа, предложения для будущей уголовной политики (отход от средневековой практики) должны были быть ориентированы на следующие принципы:

- во-первых, запрет произвола полиции;
- во-вторых, строгая зависимость судьи от закона;
- в-третьих, непрерывное развитие уголовного судопроизводства: чем быстрее производится наказание за преступление, тем оно справедливее и полезнее;
- в-четвертых, предоставление достаточного времени для защиты;
- в-пятых, гласность судебного разбирательства (отмена тайных обвинений);
- в-шестых, презумпция невиновности в пользу не изобличенного в совершении преступления подозреваемого;
- в-седьмых, упразднение цели наказания как возмездия в пользу предупреждения преступлений;

в-восьмых, отмена жестоких видов наказаний;
в-девятых, замена смертного приговора пожизненным лишением свободы;

в-десятых, главенство профилактической уголовной политики: «лучше предупредить преступления, чем наказывать».

Влияние этих требований вместе с их обоснованием стало неслыханным в Европе XVIII века. Это отразилось даже на органах юстиции. Так, судьи под влиянием труда Ч. Беккариа отказывались наказывать по предписаниям старых законов и ориентировались на сформулированные Ч. Беккариа для этого «разумных» принципах. Императрица Мария Терезия приказала отменить в 1776 году (под влиянием идей Ч. Беккариа) пытки, а ее сын, император Йозеф II, в 1788 году в качестве эрцгерцога отменил (кроме законов военного времени) смертные приговоры (которые позднее были вновь введены).

Особое значение книга Ч. Беккариа имела для развития криминологии. Такие постулаты ученого, как:

«Хотите предупредить преступление? Сделайте так, чтобы законы были ясными, простыми, чтобы вся сила науки была сосредоточена на их защите и чтобы ни одна часть этой силы не направлялась на их уничтожение».

«Хотите предупредить преступление? Сделайте так, чтобы просвещение шло рука об руку со свободой. Зло, порождаемое знаниями, находится в обратном отношении к их распространенности, а добро — в прямом».

«Другое средство предупреждения преступлений заключаются в награждении добродетели».

«Наконец, самое верное, но и самое трудное средство предупреждения преступлений заключается в усовершенствовании воспитания» —
являются и поныне стержнем всей криминологической профилактики.

В память о Ч. Беккариа «Новое криминологическое общество» (до 1988 года — «Германское криминологическое общество») по инициативе Арманда Мерген с 1964 года присуждает медаль имени Ч. Беккариа, считающуюся Нобелевской премией в криминологии. К награжденным принадлежат, например, американские ученые Шелдон и Элеонора Глюк, итальянский криминолог Филиппо Грамматика, немецкий криминолог Ханс фон Хентинг, американский социолог Торстен Зеелин, австрийский исследователь поведения людей и животных Конрад Лоренц, французский писатель Жорж Сименон и другие выдающиеся ученые, писатели и деятели уголовной юстиции.

Доктор юридических наук
В. С. Овчинский

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК НКЮ СОЮЗА ССР

ЧЕЗАРЕ БЕККАРИА
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
И
НАКАЗАНИЯХ

Биографический очерк
и перевод книги Беккариа
О преступлениях и наказаниях
проф. М. М. Исаева

МОСКВА — 1939

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НКЮ СССР

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК¹

ГЛАВА I

Родина Беккариа

Чезаре Беккариа родился 15 марта 1738 г. на севере Италии в Милане. За исключением ученических лет, всю свою жизнь он провел, почти безвыездно, в этом городе, где и умер 28 ноября 1794 г., 56 лет от роду.

При жизни Беккариа Милан являлся столицей Ломбардии, составлявшей ту значительную часть Северной Италии, которая после Утрехтского мира в 1707 г. вошла в состав австрийской монархии.

Еще в XIV и XV столетиях Милан был одним из самых цветущих торговых и промышленных городов Северной Италии, столицей самостоятельного Миланского герцогства. Открытие Америки и пути в Индию вокруг Африки, захват турками Константинополя и Ближнего Востока нанесли жестокий удар экономической мощи городов Северной Италии. Борьба великих держав того времени — Испании и Франции — за итальянские владения, начавшаяся в XVI столетии, и захват Испанией Ломбардии окончательно подорвали экономическое благосостояние Милана и политическое значение его буржуазии, которая в городах Северной Италии развилась и окрепла раньше, чем в какой-либо другой части Европы.

Испанское владычество, продолжавшееся в Ломбардии более полутора столетия (с 1535 по 1707 г.), — одна из самых мрачных страниц в истории Италии. Испанские владыки смотрели на свои итальянские владения как на колонию, из которой следовало только выкачивать деньги. Недаром итальянские летописцы тех времен называли Испанию «вампиром, сосущим итальянскую кровь». Испанские губернаторы имели почти неограниченную власть над жизнью и смертью подданных, произвольно устанавливали подати и налоги. Наряду с этим они препятствовали всякому развитию торговли и промышленности: искоренили производство цветных сукон, прекратили вывоз шелка, запрещали вывозить за пределы местных рынков хлеб, вино и т.д. Еще во второй половине XVI столетия в Милане было семьдесят суконных мануфактур, к 1616 г. из них уцелело только пятнадцать. «Контрабанда, разбой, причем разбойники держали на откупе всю продажную испанскую администрацию, — вот какие явления прочно укоренились на полтора столетия невостребованного хозяйничанья испанцев на Апеннинском полуострове»². Разорение страны увеличивалось войнами, которые велись на территории

¹ Историко-биографический очерк профессора М.М. Исаева печатается с небольшими сокращениями.

² Тарле Е.В. История Италии в новое время, 1901. С. 64—65.

Италии и сопровождалась реквизициями, контрибуциями, а также насилием над несчастным населением войск. Недаром в своей книге Беккариа говорит о «войсках, состоящих в большей своей части из подонков общества». Войны прекратились в Северной Италии только к тридцатым годам XVIII столетия, и до наполеоновских войн 1796 г. страна получила некоторую передышку.

Время испанского владычества для Ломбардии явилось вместе с тем временем социально-политической и религиозной реакции.

Дворянство не только не захирело, но наоборот с половины XVI в. стало богатеть, потому что нашло поддержку в абсолютистско-феодальных порядках Испании, перенесенных в Италию. Дворяне скупали земли у нищавших горожан и крестьян и в своих поместьях жили маленькими тиранами, раболопствуя, в свою очередь, перед испанскими губернаторами, всецело их поддерживавшими. «В отношении гражданских порядков, правил и нравов общежития это возрождение аристократизма отодвинуло Италию, — замечает Тарле, — на несколько столетий назад, в те времена, когда еще городская буржуазия начинала только свою борьбу за самостоятельность».

Переход Ломбардии под власть Австрии не поколебал положения дворянства. Благодаря привилегиям всякого рода, освобождению от налогов, особой подсудности, исключительному праву на занятие всех наиболее важных государственных должностей оно являлось господствующим сословием.

В области внутреннего управления Милан сохранил известную автономию. Миланский «сенат» наряду с судебными функциями обладал известными правами законосовещательного характера. Находясь в руках аристократических миланских родов, он стоял на страже интересов дворянства, старинных его привилегий и был противником реформ, которые «просвещенный абсолютизм» австрийского правительства пытался, хотя и робко, проводить в своих итальянских владениях во второй половине XVIII в.

Наряду с дворянством, «привилегии которого, — как кратко, но красноречиво замечает Беккариа, — составляют значительную часть законов различных наций», от испанского владычества не менее, если не более, выиграло католическое духовенство. Милан в особенности являл картину необычайного засилья этого второго привилегированного сословия. Один из биографов Беккариа, либеральный итальянский профессор Амати, представитель той части итальянской буржуазии, которая в 60—70-х годах XIX в. была еще антиклерикальной, приводит чрезвычайно интересные сведения о численности духовенства. В 1771 г. в Милане, при населении в 129 тысяч человек, насчитывалось 6390 церковников — 2072 священника, 1716 «братьев», 2602 монаха. «На каждом шагу поэтому, — пишет Амати, — попадались священники, братья, монахи, распределенные и прикрепленные к тысяче церквей и монастырей. Этот многочисленный клир обладал неизмеримыми латифундиями — поместьями, не подлежащими обложению налогами, — держал в своих руках

монополию воспитания, судился и судил в своих собственных трибуналах, прибегая и к тюрьме, и к пыткам святой инквизиции, интриговал при дворах»¹.

Каково же было в Ломбардии положение «третьего сословия»? Феодалный режим стеснял и задерживал развитие производительных сил. Треть земель вообще не обрабатывалась. Налоги сдавались на откуп, что, конечно, увеличивало их тяжесть. Торговля была до крайности стеснена всякого рода внутренними запретами на вывоз ряда продуктов и пошлинами. Политическая раздробленность Италии порождала в стране разноеобразие мер длины и веса. В монетном деле царил полный хаос. В Ломбардии в 1762 г. имели хождение 88 монетных единиц, выпущенных начиная с 1603 г.

Дороги были ужасны и небезопасны из-за многочисленных разбойничьих шаек.

Рабочие и ремесленники, крестьяне-земледельцы «вели нищенскую жизнь в грязных и нездоровых жилищах, под гнетом старинных предрассудков и жестоких законов». «Порой, — продолжал Амати, — не удавалось заработать на хлеб, и в самом Милане шестая часть населения жила нищенством или преступлением».

В своей книге «О преступлениях и наказаниях» Беккариа ни разу не говорит о том, что он описывает порядки своей родины. Его горячие обвинения направлены против гнета, насилия, жестокости законов, царивших во всей Европе в «век просвещения». Читатель каждой европейской страны, в том числе и Англии (что видно из предисловия переводчика первого издания книги на английском языке — 1767 г.), хотя Англию Беккариа противопоставлял другим странам, мог сказать: «*De te fabula narratur*» — «речь идет о тебе». Но Беккариа не нужно было оставлять пределы родного города — нужно было только обладать его глубоко наблюдающим умом и горячо чувствующим сердцем, чтобы заклеить существующее неравенство, «когда на одной стороне все могущество и счастье, а на другой лишь одно бессилие и нищета», чтобы понять, что «привилегии дворян составляют значительную часть законов различных наций».

Буржуазные криминалисты XIX и XX вв., рассматривая Беккариа исключительно с точки зрения вопросов уголовного права, притупляли тем самым политическое острие сочинения Беккариа. В известной главе о толковании законов (§ IV) Беккариа имел в виду далеко не одних судей, когда он говорит о «мелкой тирании многих». Мысль Беккариа на этом не останавливается. Как и всюду, Беккариа видит и шире, и глубже. Мелкая тирания многих тем более представляется ему жестокой, «чем ближе она к угнетаемому», «тем более ужасной, что на смену ей может прийти лишь тирания одного». Нужно быть политически совершенно близоруким, чтобы думать, что Беккариа говорит только о судьях, или же нужно для того, чтобы обезвредить, сознательно извратить мысль Беккариа, как это сделала Екатерина II в соответствующих статьях (151—156) своего На-

¹ Amati A. Vita ed opera di Cesare Beccaria, 1872. P. 12.

каза 1767 г. При господстве законности, как ее понимал Беккариа, «граждане приобретают при этом известный дух независимости». Они откажутся повиноваться тем, «которые священным именем добродетели осмеливаются называть покорность их корыстным или прихотливым желанием». «Высказанные мною начала, — заканчивает Беккариа, — не понравятся, конечно, тем, которые, подвергаясь ударам тирании сверху, считают себя вправе переносить их на ниже себя стоящих». Беккариа, не ошибался: миланская аристократия до самой его смерти ненавидела Беккариа, и славой при жизни на своей родине он никогда не пользовался.

Непосредственно миланскими впечатлениями навеяна и глава о тунеядцах (§ XXIV). «Я называю политическим то тунеядство, — пишет Беккариа, — которое не приносит обществу пользы ни трудом, ни богатством, которое выигрывает, никогда не теряя, на которое простой народ взирает с бессмысленным благоговением, а мудрец с презрительным состраданием к его жертвам». Монах Факинеи, обрушившийся на книгу Беккариа через несколько месяцев после выхода ее в свет (см. главу VI), сразу увидел, что в ней Беккариа под тунеядцами понимал бесчисленное католическое духовенство и монашество, и посвятил в своем памфлете несколько страниц в доказательство того, что монахи не тунеядцы, а, за малым исключением, живут «трудом рук своих».

Не только в Италии, но и в других странах современники Беккариа прекрасно понимали, о каких «тунеядцах» говорил Беккариа и кого он предлагал, по примеру «мудрых правительств», не терпящих, чтобы «среди труда и деятельности процветал» этот род политического тунеядства, «исключить из общества, т.е. изгнать». Лейпцигский профессор Гоммель в своих замечаниях на перевод под его редакцией книги Беккариа кратко писал, что «весь параграф (о тунеядцах) не имеет никакого отношения к протестантам»¹. Нужно было быть классическим французским буржуазным криминалистом, как Эли, чтобы утверждать, что рассуждения Беккариа о тунеядстве «должны относиться только к тому классу тунеядцев, лишенных всяких средств и не имеющих никакого ремесла, которые уголовным законом именуется профессиональными бродягами и нищими»². Так толковать Беккариа — значит превращать его в апостола начал архибуржуазного французского уголовного кодекса 1810 г., созданного буржуазией в эпоху реакции после прихода ее к власти.

Непонятно, как можно вообще приписать такие взгляды Беккариа, который в уста человека, решившегося встать на путь разбоя, вкладывает страшную обвинительную речь против существующих общественных порядков. «Что это за законы, — восклицает “разбойник”, — которые я должен уважать и которые целой пропастью отделяют меня от богатого? Он отказывается подать мне грош, который я у него прошу, и оправдывает себя тем, что посылает меня на работу, которой сам не знает. Кто

создал эти законы? Сильные и богатые, которые никогда не удостоили своим посещением печальную хижину бедняка, которым никогда не приходилось делить кусок заплесневелого хлеба под крик ни в чем не повинных детей и слезы жены! Порвем эти узы, губительные для большинства и выгодные немногим праздным тиранам! Поразим несправедливость в самих ее корнях...

...Став предводителем немногих, я исправлю ошибки судьбы, и тираны будут бледнеть и дрожать перед тем, кого они в оскорбительном высокомерии считали ниже своих лошадей, ниже своих собак!»

Насколько глубоко отразились в книге Беккариа социальные противоречия, которые он мог наблюдать в самом Милане, видно также из главы о кражах (§ XXII). «Кража, — говорит Беккариа, — является обычно преступлением нищеты и отчаяния, преступлением той несчастной части человечества, которой право собственности (ужасное и, может быть, не необходимое право) оставило возможность одного голого существования».

Какая глубина мысли! Какое прозорливое провидение корней социальной несправедливости! Право частной собственности — «ужасное право» — *terribile diritto*. Трудно даже представить, что это писал двадцатилетний патриций в условиях, когда еще полностью господствовали сословно-феодалные отношения, а капиталистические отношения в Северной Италии были в зачаточном состоянии. В глазах немецкого буржуазного ученого Герца, написавшего целое исследование «Вольтер и французское уголовное правосудие в XVIII столетии», мимоходом высказанное Беккариа сомнение в необходимости существования буржуазной собственности являлось «прямо революционным»¹.

В эпоху Беккариа Италия по сравнению с такими странами, как Англия, Голландия и Франция, была глубоко отсталой страной. Но все же и в Италии придавленная двухсотлетней феодальной и клерикальной реакцией городская буржуазия с середины XVIII в. стала давать новые ростки. Австрийский «просвещенный абсолютизм» провел кое-какие реформы в Ломбардии. При наместнике графе Фирмиани был проведен общий земельный кадастр, были проведены каналы и выполнены осушительные работы, чрезвычайно важные для населения. В 1777 г. была проведена монетная реформа.

В ряде мест книги Беккариа чувствуется благожелательное отношение его к торговле и промышленности, к «богатству, созданному приложением», к «деятельности, необходимой в целях сохранения и умножения жизненных удобств». В главе «О должниках» (§ XXXIV) Беккариа высказывается за организацию нотариата («публичная и точная запись всех договоров») и «общественных банков».

В области идеологии начинающееся «возрождение» буржуазии сказалось главным образом в оживлении научной и публицистической мысли. В 1725 г. появилась работа историка-философа Вико (1668—1744),

¹ Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen. Breslau, 1778.

² Hélié F. Des délits et des peines par Beccaria, 1870 (2nd ed.). P. 180.

¹ Hertz. Voltaire und die französische Strafrechtspflege im 18 Jahrhundert, 1887.

жившего в Неаполе, «Принципы новой науки», в которой он рассматривает историю человечества как единый процесс, устанавливая закономерность и повторимость исторических явлений. В 30- и 40-х годах XVIII в. появляются труды сиэнского (Тоскана) экономиста Бандини и неаполитанского Броджиа. Доклад Бандини тосканскому правительству о запустении и разорении южной Тосканы является своего рода обвинительным актом против администрации, выжимавшей из крестьян все соки. Броджиа борется со злом, с феодальными отношениями в области землевладения, которые в королевстве обеих Сицилий сохранились в более неприкосновенном виде, чем в какой-либо другой части Италии.

В 1755 г. на частные средства была открыта в Неаполитанском университете кафедра политической экономии, одна из первых в Европе. Кафедра была открыта специально для профессора Дженовези, который читал лекции, впервые на итальянском языке, до своей смерти (1769). Дженовези выступал против крупной земельной собственности, против неотчуждаемости дворянских имений. Положение итальянских крестьян Дженовези считал совершенно бесправным, потому что феодальный владелец мог в любое время выгнать своих арендаторов из поместья, не говоря уже о батраках. Дженовези ратовал за предоставление крестьянству возможности приобретать землю в собственность.

Судьба историка Джанноне (1676—1748) показывает, что еще в середине XVIII в. итальянским ученым и публицистам приходилось считаться с всемогущим католическим Римом не меньше, чем во времена Галилея (1564—1642). В своей четырехтомной «Гражданской истории Неаполитанского королевства» он разоблачал постоянную узурпацию католической церковью прав светской власти. Сочинение вызвало бурю негодования у духовенства, сумевшего настроить против Джанноне неаполитанское простонародье. Джанноне пришлось бежать из пределов Италии. Но в 1736 г. шпионам удалось заманить его в Пьемонт, где он и был арестован. Его продержали в тюремном заключении до смерти (1748). И даже отречение Джанноне от своих убеждений по требованию римской курии не облегчило его участи¹.

И в художественной литературе с середины XVIII в. также начинает сказываться идеология «третьего сословия». Огромную роль в этом отношении сыграл своими комедиями Гольдони (1707—1793) — этот «итальянский Мольер». Заслуживает внимания и другой современник Беккариа — выходец из крестьян, миланский поэт Парини (1729—1799). В сатирической поэме «День», напечатанной в 1763—1765 гг., т.е. одновременно с книгой Беккариа, он обличает паразитизм аристократии, живущей за счет угнетенного народа. Презрение, с которым Парини относится к героям своей поэмы, к аристократам, сказывается не только в том, что поэт развертывает в пародию контраст между внутренней пустотой их жизни, полной условностей, и тем внешним блеском, традицию которого они ревниво оберегают. «Надо видеть, — пишет Овэтт, — с какой любовью

Парини изображает на фоне своей картины народ, того голодного труженика, которого опрокидывает и давит тяжелая коляска изнеженного барина, бессильно развалившегося на ее мягких подушках и в таком виде направляющегося к своей даме, при которой он состоит в роли чичисбея (друга дома)¹. Такого рода места поэмы ставят, по мнению Овэтта, вопрос о Парини как предшественнике революции, подобно Бомарше во Франции.

Не могла, конечно, Италия середины XVIII в. уйти от влияния «просветительной» литературы Англии и, в особенности, Франции. С сочинениями английских и французских материалистов XVII и XVIII вв., в особенности с сочинениями Монтескье, Вольтера, Руссо, с издаваемой Дидро Энциклопедией, знакомились наиболее образованные люди Италии.

¹ Овэтт А. История итальянской литературы, 1909. С. 267.

¹ Овэтт А. История итальянской литературы, 1909. С. 284.

ГЛАВА II

Отчий дом. Годы ученья в колледже и университете. Отношение Беккариа к юристам

По своему происхождению Чезаре Беккариа принадлежал к знатным дворянским фамилиям Северной Италии. Предки его в XII в. были могущественными тиранами города Павиа. Последний из них был изгнан восставшим народом в середине XIV в. Их дворцы были разрушены, и, как повествует хроника, «чтобы сохранить живую память об их злодействах, каждый житель города держал под подушкой камень, взятый из их дворцов и башен» (Амати). Одна из ветвей рода Беккариа поселилась в Милане. Миланские предки Чезаре ничем не проявили себя в истории миланского герцогства. Отец его, маркиз Джованни Саверио, был типичным главой патрицианской семьи, представлявшей собой, по выражению Амати, «маленький Олимп, где боги делились на главных и второстепенных». Главной заботой главы такой семьи было поддержание «чести дома», заключавшееся в том, чтобы быть пышно одетым, иметь многочисленную челядь, задавать пиры и банкеты, подавать милостыню так, чтобы об этом все знали. Жена такого патриция, по установившемуся обычаю, проводила время за своим туалетом, занималась приемом и отдачей визитов и посещала церковь.

Со дня рождения дети передавались кормилице, затем переходили на попечение дядьки или домашнего аббата. Семи-восьми лет мальчики поступали в колледжи, находившиеся большей частью в руках иезуитов. Положение сыновей было неодинаково. Только старший являлся наследником родового имущества и при жизни отца мог уже деспотически относиться к своим младшим братьям, к дворне и к зависимым от «дома» приближенным лицам. Посвящать себя промышленности или торговле считалось унижающим дворянина делом. Младшие сыновья патриция предпочитали поступать в ряды духовенства, на военную службу или просто вести паразитическую жизнь — сперва в доме отца, а затем старшего брата. Дочерям предстояло одно из двух: замужество или монастырь.

Девяти лет Чезаре был отдан в иезуитский колледж в городе Парма, который он окончил семнадцати лет. Обучение иезуитами дворянской молодежи, а также и буржуазной было типичным явлением не только в Италии, но и во Франции XVII и XVIII вв. Вольтер, Дидро, Гельвеций, Морелле и ряд других французских энциклопедистов прошли через иезуитские колледжи.

Сведения о годах пребывания Чезаре в колледже не отличаются документальной точностью. По словам одних биографов (Виллари, Кантү), он не проявлял особенных способностей и не развил в себе любви к учению и труду. По свидетельству других биографов (Вилла, Кустоди, Уго-ни), Беккариа быстро усваивал, был первым среди товарищей в литературных упражнениях, в 15 лет закончил «философский курс», принялся вновь за «риторику» и занимался математикой с таким успехом, что учителя называли его «маленьким Ньютоном», «*Newtoncino*». Эти же писатели говорят, что по своему характеру Чезаре был молчалив и склонен к размышлению, с трудом решался обнаруживать свои знания и бывал недоволен, если его хвалили.

Сам Амати, «сопоставляя и согласовывая, насколько это возможно», высказывания упомянутых писателей о характерных чертах Беккариа, исходит из того положения, что если в ребенке можно предугадывать черты взрослого, то, зная взрослого, можно судить о том, каким он был в детстве. В применении к Беккариа этого «положения» Амати мог сослаться на один из афоризмов, сохранившихся в записной книжке Беккариа, в которую в годы своей литературной деятельности он время от времени заносил некоторые из своих мыслей. «Склонность людей к одному роду удовольствия скорее, чем к другому, — писал Беккариа, — одна из основных причин в различии характеров, и это зависит от первых приятных впечатлений, полученных ребенком. Выросши, он будет стремиться к тем удовольствиям, которые он испытал первыми».

По мнению Амати, в детские и юношеские годы Беккариа проявлялись черты характера, свойственные его зрелому возрасту. Он лениво приступал к работе, мало заботился о почерке и правописании, пренебрегал своей внешностью, страшился одиночества, но одновременно был врагом шумного и пошлого общества, был скромен, но вместе с тем тверд в своих убеждениях, издавна следовал методу точного анализа, соединенного с наблюдением, и с помощью точных наук приучил свой ум к точному мышлению, к сжатой, строгой, непоколебимой логике, которая придает его моральным сентенциям характер непререкаемых, подобно геометрическим формулам.

Из колледжа Беккариа вынес знание классической, в особенности латинской, литературы, средневековой философии и умение владеть пером. Иезуитская выучка не даром прошла. Когда было нужно, Беккариа легко облакал опасные для существующего порядка мысли своей книги «О преступлениях и наказаниях» в такую форму, которая обеспечивала его, в известной степени, от преследования со стороны католической церкви. Любовь же к математике и физике так и прорывается на страницах этой книги, сказываясь в ее «математическом» языке, в частых сравнениях и образах из области физики и даже астрономии. В этой любви иезуиты-воспитатели не были, конечно, повинны.

Само воспитание в колледже Беккариа закладывал впоследствии как «фанатическое, заглушающее чувства человеколюбия» (письмо к Морелле 26 января 1766 г.). Воспоминаниями о колледже вызваны и некоторые

места в его книге, где он осуждает вообще закрытые школы — «дома, в которых собирают пылкую молодежь», где проводится «воспитание, которое, желая сделать людей полезными для других, начинается с того, что делает их бесполезными для себя», и где «не находя никакого другого выхода, все развивающиеся природные силы растрачиваются без пользы для человечества, вызывая тем самым даже преждевременную старость».

Какое значение придавал Беккариа воспитанию подрастающего поколения, видно из того, что, по его убеждению, «самое верное, но и самое трудное средство предупреждения преступлений заключается в усовершенствовании воспитания». Ссылаясь на то, что этот «слишком обширный» вопрос выходит за пределы его труда, Беккариа, однако, тут же роняет мысль: этот вопрос «слишком тесно связан с природой правления». А дальше в нескольких строках исповедует идеалы Руссо о воспитании, не называя этого писателя по имени из политической предосторожности. «Один великий человек, просвещающий человечество, его преследующее, изложил подробно главные правила воспитания, действительно полезного людям. Оно должно заключаться не в бесплодном множестве предметов, а в точном выборе их, оно должно знакомить в подлинниках, а не в копиях с явлениями как моральными, так и физическими, которые случайно или намеренно являются перед неиспорченной душой юноши. Оно должно вести их к добродетели, пользуясь легкой дорогой чувств, оно должно отвращать их от зла не сбивчивым путем приказаний, за которым следует лишь притворное и мимолетное послушание, а безошибочным путем убеждения в неизбежности вредных последствий».

Окончив колледж, Беккариа поступил в университет в городе Павия, чтобы изучить юридические науки. В сентябре 1758 г. он закончил университетское образование, получив степень «доктора обоих прав», т.е. канонического и римского. Сведениями об университетской жизни Беккариа мы не располагаем. Амати нашел в университетском архиве собственноручное прошение Беккариа о допущении его к докторскому испытанию. К этому прошению приложено удостоверение о религиозной благонадежности, требовавшееся правилами того времени. Удостоверение исходило от двух собственных слуг молодого Беккариа. Они заверяли, что «синьор маркиз Чезаре Беккариа всегда был истинным католиком, никогда не высказывал никакой еретической мысли и никогда ничего не сделал противного святой католической вере».

Главнейшими предметами юридического преподавания в университете являлось римское и каноническое (церковное) право.

Гольдони рассказывает в «Мемуарах», как он держал экзамен на докторскую степень в 1731 г. в Падуанском университете, «в великом городе ученых». Первым делом он отправился к профессору римского права синьору Пиги и попросил его быть его «промотором», т.е. представить его ученому собранию и поддержать его диссертацию. «Профессор Пиги, — говорит Гольдони, — оказал мне эту услугу и с большим достоинством принял от меня в подарок серебряный кофейный сервиз». Затем Гольдони внес в университетскую кассу положенную за диспут сум-

му, которую профессора распределяли между собой, и сделал визиты всем профессорам.

На следующий день Гольдони отправился в университет, «чтобы извлечь из урны тезисы, которые судьба ему назначила». По римскому праву ему выпал вопрос о наследовании *ab intestato*¹, по церковному праву — о двоеженстве. В течение дня он готовился к диспуту, который и состоялся на следующее утро.

Диспут начался с того, что Гольдони огласил оба тезиса, подлежащих защите. «Тогда один из моих оппонентов, — говорит Гольдони, — произносит ужасный силлогизм по формуле *Barbara*, первая и вторая посылки которого богато насыщены цитатами из текстов». Гольдони должен был привести свои «аргументы».

«Я, — говорит Гольдони, — воспользовался вместо схоластического метода доктриной, заключением и толкованиями компиляторов и интерпретаторов. Я произнес целую диссертацию на тему о наследовании *ab intestato*. Все присутствующие аплодировали мне». Затем Гольдони перешел к тезису по каноническому праву. «Я обозрел законы греков и римлян, процитировал соборные уставы». «Счастье, — замечает Гольдони, — улыбнулось мне в выборе вопросов: я знал их наизусть и покрыл себя бессмертной славой»². Голосование показало, что Гольдони удостоен степени единогласно. Тогда «промотор», профессор Пиги, надел Гольдони на голову докторскую шляпу и произнес похвальную речь своему лиценциату.

Из этого описания видно, что в итальянских университетах XVIII в. к юристам, желающим получить докторскую степень, предъявлялись требования основательного знания источников римского и канонического права. Не обладая соответствующей «эрудицией», никто не мог бы в течение одного дня подготовиться к защите «тезисов».

Примерно через такой же диспут должен был пройти и Беккариа. Взгляды, вынесенные им из университета на юриспруденцию того времени, отчетливо отразились в его книге.

Римское право применялось в Италии еще в раннее Средневековье — «обрывки законов древнего народа-завоевателя... перемешанные впоследствии с обычаями лонгобардов...» Изучение римского права началось в итальянских университетах еще в XII в., но оно быстро вылилось в схоластическое изучение бесчисленных толкований этого права, накапливавшихся в продолжение нескольких веков. Уголовное право изучалось сперва как часть римского гражданского права, а затем и самостоятельно. Уголовное право, как и все право Средневековья, находилось под сильным влиянием «канонического», т.е. церковного, права.

Огромными авторитетами в эпоху Беккариа не только в Италии, но и за пределами ее были итальянские юристы Юлиус Кларус (1525—1575) и Проспер Фаринациус (1544—1618). Не меньшим «международным» ав-

¹ То есть без завешания.

² Гольдони К. Мемуары. Изд. Академии, 1930. С. 214—219.

торитетом пользовался и германский криминалист Бенедиктус Карпцовиус (1595—1666). В четырехтомном трактате в три тысячи с лишком страниц «Об уголовной юстиции Франции», вышедшем в 1771 г., т.е. за каких-нибудь двадцать лет до революции, французский криминалист Жусс «труды» этих трех криминалистов относит к «основным сочинениям по уголовному праву»¹. Для характеристики этих «ученых» достаточно указать, что Кларус непреложно верил в волшебство и власть дьявола и стоял за беспощадное истребление еретиков.

Фаринациус, написавший девять томов инфолио, высказываясь за самое беспощадное отношение к ереси и богохульству, в подкрепление своего мнения ссылаясь на «случай», когда ребенок, произнесший богохульные слова, был вырван из рук родителей чертом.

Карпцовиус был горячим сторонником смертной казни и членовредительских наказаний. Он, по собственному признанию, в качестве судьи вынес более двадцати тысяч смертных приговоров. Все эти «ученые» — сторонники широкого применения пытки. Карпцовиус, ссылаясь на Кларуса, советовал судье в более важных случаях не стесняться законами как при определении наказания, так и в применении пытки. Именно это «железное правило, внушенное самым жестоким безумием», Беккариа приводит как «одно из многочисленнейших и одинаково неразумных правил», установленных криминалистами.

Преподаваемая в университете юриспруденция в таком юноше, как Беккариа, могла вызвать только одно отвращение. Об этом можно судить даже по одному тому, что по окончании университета он не избрал судебной карьеры. На этой стороне жизни Беккариа исследователи не останавливались. В настоящее же время мы располагаем и личным свидетельством Беккариа. Так, в письме к герцогу Фердинанду Австрийскому (лето 1765 г.), впервые опубликованном Ландри, Беккариа откровенно сознается, что он никогда не чувствовал никакой склонности к судебной карьере².

Когда после нескольких лет занятий просветительной философией Беккариа стал писать «О преступлениях и наказаниях», то в свете «разума» все преподаваемое в университетах и применяемое затем на практике право предстало перед ним как нечто совсем пережившее себя, как наследие варварского прошлого. Изречения римских и средневековых юристов считаются законами! «После своей смерти юристы, — гневно пишет Беккариа, — сделали оракулами и превратились в законодателей и вершителей человеческих судеб». Действующее уголовное право, в глазах Беккариа, «опирается на предрассудки веков, на многотомное собрание бесчисленных комментаторов». Глубокое презрение и негодование звучит у Беккариа, когда он называет «учеными» (*dottori*) юристов Средневековья и своего времени, спорящих о том, сколько раз надо при-

менять пытку к сознавшемуся во время пытки подсудимому, а затем не подтвердившему свои показания после пытки.

«Некоторыми учеными, — пишет Беккариа, — такое бесчестное повторение пытки допускается до трех раз, другие ученые... ничем не ограничивают произвол судьбы». Беккариа говорит об искусственной системе, вынесенной судьей из школы. Но мало этого, в связи с расширением юристами в эпоху Средневековья и абсолютизма понятия такого преступления, как «оскорбление величества», Беккариа говорит о «придирчивом толковании, являющемся обычной философией рабства».

Неудивительно, что у Беккариа вырывается восклицание: «Счастлива та нация, где знание законов не составляет науки».

Если по преступлениям «трудно доказуемым», в том числе и по «воображаемым» (т.е. по делам о ереси, волшебстве), «ученые, являющиеся для судей правилом и законом, с возмутительным, как говорит Беккариа, хладнокровием учат применять пытку над подсудимым, свидетелями и даже над семьей несчастного», то и самих судей Беккариа характеризует как жестоких и холодных палачей.

Беккариа прекрасно понимал, что существующие законы «служат только для прикрытия насилия» и что «обдуманное и жестокое обрядности (суда), являющиеся только условным языком», помогают с большей безопасностью приносить народные массы «в жертву ненасытному идолу деспотизма». И вот эти деспотические законы и поддерживают «величественные жрецы правосудия», которые «с равнодушным спокойствием приказывают медленно влачить преступника на место казни». Горячим призывом к ненависти являются и следующие за этими слова Беккариа: «Что должны люди думать, видя, как несчастный содрогается в последнем ужасе, ожидая рокового удара, а судья с бесчувственной холодностью, а может быть и с тайной радостью от сознания своей власти, удаляется наслаждаться удовольствиями и приятностями жизни». Мы могли бы привести еще и другие выдержки из книги Беккариа, характеризующие отношение его к существовавшей судебной системе и к «неумолимым и ожесточенным служителям правосудия». Но уже из приведенного вполне понятно основное требование Беккариа, чтобы суд производился «заседателями», wybranными по жребию, чтобы «каждый был судим равными себе». Это требование о введении суда присяжных поддержано было революционной буржуазией.

Понятна и та бешеная злоба, с которой была встречена книга Беккариа современными ему «учеными» — юристами и «служителями правосудия». Первым выступил в защиту их, несколько месяцев спустя после появления книги Беккариа, в своем памфлете «служитель церкви» монах Факинеи (см. главу VI). Он прямо заявил, что так думать и писать может только тот, кто считает, что «правосудие ведет свое происхождение не от извечного законодателя, все видящего и предвидящего, не от света, за-

¹ Jousse M. Traité de la justice criminelle de France It., 1771, Préface.

² Landry E. Cesare Beccaria. Scritti e lettere inediti. Milano, 1910. P. 220.

ложенного в самом сердце людей, а только от тех самых малых частиц своей свободы, которыми пожертвовали люди»¹.

В 1767 г. французский криминалист Мюяр де Вуглан выпустил против книги Беккариа целую брошюру в 118 страниц, хотя книга, по его мнению, «и не заслуживала критики по той причине, что она полна парадоксов и заблуждений»². Об этой брошюре можно судить по тому сочувствию, с которым отзывается о ней упоминавшийся нами Жусс. В предисловии к своему трактату этот поклонник Кларуса, Фаринацуса и им подобных замечает, что, в сущности, среди сочинений по уголовному праву не следовало бы упоминать «О преступлениях и наказаниях», если бы эта книга не нашла многочисленных поклонников и хвалителей». Жусс считает, что Мюяр де Вуглан привел «основательные и здравые» доводы, пригодные сдержать увлечение этой книгой, что является необходимым, «так как вместо того, чтобы посильно осветить вопрос о преступлениях и наказаниях, она, — пишет Жусс, — стремится установить систему самую опасную, проповедует такие новые идеи, что принятие их привело бы не к чему иному, как к ниспровержению законов, существующих у самых цивилизованных наций, и нанесло бы удар религии, нравственности и священным принципам правительственной власти».

Старания «ученых» криминалистов вроде Жусса — помешать успеху идей, высказанных Беккариа, были все равно обречены на неудачу. Чем ближе надвигалась Французская революция, тем больше подпадала под влияние этих идей молодежь Франции, избиравшая карьеру адвоката и даже судьи. Прекрасно характеризует настроение этой молодежи — дворянской или буржуазной по своему происхождению — граф Редерер, переиздавший книгу Беккариа в переводе Морелле в 1797 г. Посылая экземпляр своего издания дочери Беккариа Джулии, Редерер писал ей, что «сочинение о преступлениях и наказаниях» настолько изменило дух старых трибуналов во Франции, что за десять лет до революции они больше уже не походили на самих себя. Все молодые судейские, в том числе и я, могут свидетельствовать, что мы судили скорее на основании принципов этого сочинения, чем по закону...» (письмо полностью приведено у Кант³).

В более отсталых — и социально, и политически — условиях Италии книга Беккариа, хотя и меньше, но все же оказала влияние на юридическую молодежь. Об этом можно судить по тому, что двадцать лет спустя после появления книги Беккариа профессор и судья Антонино Джудици счел необходимым выступить против ее идей с книгой, озаглавленной «Защита римской юриспруденции, или Критические замечания на кни-

гу «О преступлениях и наказаниях»»¹. В предисловии автор поясняет, что он избрал такое название потому, что «защита римской юриспруденции является главной целью его труда, дабы молодежь, подрастающая надежда государства, не отвернулась от сего полезнейшего изучения, тем более в настоящее время, когда так много находится людей, хулящих устно или письменно римские законы, не имея истинного знания их». Но даже и сам Джудици в своих «замечаниях» на обращение Беккариа «К тому, кто читает» не мог не признать, что «мы подавлены чрезмерно большими и многочисленными томами толкователей, которые во многих странах узурпировали не подлежащий им авторитет».

¹ Факинеи указывает здесь на договорную теорию происхождения общества, защищаемую Беккариа в § 1 «О происхождении наказания».

² Muiart de Vouglans M. Réfutation des principes hazardés dans le Traite des Délits et des Peines, 1767.

³ Cantu C. Beccaria e il diritto penal. Firenze, 1867. Книга на французском языке издана в Париже в 1885 г.

¹ Apologia della giurisprudenza Romana o Note critiche al libro intitolato dei Delitti e della Pene. Milano, 1784.

ГЛАВА III

Женитьба. Взгляды Беккариа на семью. Занятия просветительной философией

По окончании университета Беккариа вернулся в отчий дом. Состояние его отца и положение Чезаре как старшего сына позволяли ему жить, ничем не занимаясь. Нет указаний на то, что отец принуждал Чезаре избрать себе какую-либо определенную карьеру. Но сравнительно скоро между ними возникли резкие разногласия. Двадцатидвухлетний Беккариа полюбил со всей страстью шестнадцатилетнюю Терезу де Бласко, дочь подполковника инженерных войск, состоявшего на австрийской службе. Отец Терезы соглашался на брак, но этому решительно воспротивился Беккариа-отец. Для него семья Бласко была и недостаточно знатной, и недостаточно богатой. Так как Чезаре не отказывался от своих намерений, то он использовал все права отцовской власти. Он подверг сына домашнему аресту, «дабы он имел полную свободу серьезно обдумать свое дело» (Амати). В свою очередь, отец Терезы обратился к императрице Марии Терезии с жалобой. Благодаря вмешательству венских властей Чезаре Беккариа был освобожден после трехмесячного ареста 22 февраля 1761 г., и через два дня состоялась его свадьба.

Из опубликованных впервые Ландри документов два относятся ко времени заточения Беккариа. Из одного видно, что был момент, когда упорство Чезаре было сломлено. Под диктовку отца, как предполагает Ландри, 16 января Чезаре написал письмо Терезе, в котором он сухим, почти официальным языком пишет, что «по серьезным размышлениям о печальных последствиях брака» он пришел к заключению о невозможности получить согласие отца и просит ее освободить от данного им слова¹. Второе письмо написано Чезаре своему отцу и носит пометку, что оно передано через камердинера 4 февраля. Приводим его полностью. В нем прорывается страстная натура Чезаре Беккариа, сказавшаяся и в языке его книги.

«Дражайший сеньор отец!

Чтобы не оставлять никаких сомнений относительно истинной и последней воли, я решился объявить ее письменно, испрашивая прежде всего прощение за резкость ее изложения.

Умоляю Вас поверить, что только одна смерть сможет отменить мое решение и что даже вид ее меня не устрасит. Клянусь

перед Богом, что я никогда не отступлю и не откажусь от своего слова. Умоляю Вас во имя тела Иисуса Христа не запрещать мне более этого брака и не насиловать дальше мою совесть. Умоляю Вас предоставить меня на произвол судьбы, от которой одной, а не от родителей должен зависеть печальный, предсказываемый мне конец. Я сделал все, чтобы подавить мою душу, но теперь я уже более не в силах изменить себя. Я согласен покинуть отчий дом и довольствоваться тем малым, чем меня удостоят, но я прошу проявить милость и предоставить мне выполнить мою твердую и неизменную волю. Иначе я не знаю, что случится с Вашим бедным сыном, подвергнутым столь длительному мучению. Целую Ваши руки и испрашиваю родительское благословение».

Это письмо является документом, характеризующим угнетение личности в патриархальной семье XVIII в. Пережитую драму Беккариа отразил и на страницах своей книги, где он высказывается за «свободу заключения браков», против «господства сословных предрассудков», против того, чтобы «отцовская власть заключала или не допускала браки». В главе «О духе семейственном» Беккариа идет еще дальше. Он резко ставит в теснейшую связь абсолютизм родительской власти с абсолютизмом в области государственного устройства. Беккариа стоит за то, чтобы выросшие сыновья становились свободными гражданами государства, чтобы подчинение в семье основывалось не на приказе, а на договоре.

Глава «О духе семейственном» является вызовом, брошенным существующему порядку вещей. Профессор Джудици прекрасно понимал, что Беккариа говорит не только о семье, но и вообще «о чувстве свободы и равенства, одушевляющем республику, являющуюся союзом свободных людей». «Несчастно отечество, — восклицает Джудици, — если оно ждет помощи от фанатизма или скороспелой независимости сыновей от воли отцов! История полна примеров печальных последствий, вызванных теми чувствами, которые именуются республиканскими».

Некоторые буржуазные ученые XIX в. понимали, что критика Беккариа направляется не только против феодально-патриархальной семьи. Они видели, что ее не может выдержать и буржуазная семья. Кант в специальной главе, посвященной взглядам Беккариа на семью и собственность, возмущается тем, что он «превратил наиболее священные узы в товарищество на вере, зависимость смешал с рабством, авторитет с тиранией», и в параллель взглядам Беккариа приводит выступление Робеспьера в конvente 7 марта 1794 г., заявившего, что «только одно отечество имеет право воспитывать своих детей и не может поручить это ни семейной гордыне, ни предрассудкам частных лиц...»

Если Чезаре и настоял на своем вступлении в брак с Терезой, то за этим последовало изгнание его из отчего дома. Ему пришлось переехать в дом тестя. Отец отказал сыну и в материальной поддержке и только через год, после заступничества некоторых миланских вельмож, назначил ему небольшое пособие.

¹ По предположению Ландри, письмо не было отослано.

Для Беккариа потянулись тяжелые в материальном отношении месяцы. Только в середине 1762 г. при содействии его нового друга графа Пьетро Верри состоялось примирение Чезаре с отцом. В своем труде «Граф Пьетро Верри, его идеи и его эпоха» Буви рассказывает, как однажды вечером, во время обеда Чезаре неожиданно появился в доме отца вместе с Терезой и бросился к ногам родителей, причем Тереза ухитрилась тут же упасть в обморок. Всю эту сцену организовал Пьетро Верри «с истинным, как замечает Ландри, талантом комедиографа». Растроганные родители со слезами обняли «блудного сына»¹. Словом, вышла картина в духе Греза с его сентиментальными темами.

В своем первом письме к Морелле (26 января 1766 г.), давая о себе сведения, которые интересовали его переводчика, Беккариа писал: «Я старший в семействе, имеющем некоторое состояние, но обстоятельства, частью необходимые, частью зависящие от воли другого, не дают мне большой свободы. У меня есть отец, старость и даже предрассудки которого я должен почитать. Я женат на молодой, чувствительной женщине, любящей образовать свой ум, и я имел редкое счастье, что за любовью последовала самая нежная дружба».

Свой досуг после ухода из родительского дома Беккариа заполнял чтением книг. Кантú сообщает, что сохранился каталог библиотеки, выданной отцом изгоняемому сыну. К сожалению, Кантú не приводит его, а только кратко отмечает, что «библиотека содержала классиков и модные в то время сочинения».

Беккариа прекрасно владел языками — по-французски он, например, свободно писал и даже иногда переписывался на этом языке со своими итальянскими друзьями. Знал он также и английский язык. Древние языки — латинский и греческий — были известны ему в совершенстве. Поскольку Беккариа в 1792 г. написал отзыв на австрийский уголовный кодекс 1787 г. (см. главу X), надо думать, что он знал и немецкий язык.

«Просветительные» идеи носились в воздухе. Сочинения Монтестье, Вольтера, Руссо распространялись по всей Европе. Энциклопедия Дидро стала выходить с 1751 г. Неудивительно, что и Беккариа принялся за эту литературу. «Тому пять лет, — писал Беккариа Морелле в указанном выше письме, — что я обратился к философии, и этим я обязан чтению «Персидских писем»». Столь сильное влияние «Персидских писем» Монтестье, вышедших в 1725 г., вполне понятно. Эта книга написана так увлекательно, что и сейчас, спустя двести лет, читается с неослабевающим интересом. Едкая сатира на порядки Франции начала XVIII в. соединяется с осмеянием святая святых католической церкви, с выпадами против самого папы. По своему резко отрицательному направлению «Персидские письма» не могут быть сопоставлены с сочинением того же Монтестье «Дух законов» (1748), использованным так широко Екатериной II в ее «Наказе» 1767 г.

«Второе творение, dokonчившее переворот моего ума, — продолжал Беккариа, — принадлежало г-ну Гельвецию... Именно он со всей силой толкнул меня на путь истины и обратил мое внимание на несчастье человечества. Значительной частью своих мыслей я обязан чтению книги «Об уме»».

Невольно вспоминается, какое сильное впечатление произвела книга Гельвеция, вышедшая в 1758 г., на Ушакова и Радищева, посланных на выучку в Лейпцигский университет (1767—1771).

«Превосходное сочинение г-на Бюффона, — продолжает Беккариа, — открыло передо мной святилище природы. Недавно я прочел двенадцатый и тринадцатый тома, в которых удивлялся двум взглядам на природу, восхитившим меня философическим красноречием, с которым они написаны. То, что я успел прочесть у г-на Дидро, т.е. его драматические произведения, объяснение природы¹ и статьи в Энциклопедии, показали мне полными мыслью и жаром. Какой это должен быть прекрасный человек! Глубокая метафизика г-на Юма, истинность и новизна его взглядов поразили и просветили мой ум. Недавно я прочел с бесконечным удовольствием восемнадцать томов его истории. В них увидел политика, философа и историка первой степени. Что мне сказать Вам, сударь мой, о философических сочинениях г-на Даламбера? Они кажутся мне бесконечной цепью великих и новых идей, и я нахожу в них возвышенность и язык законодателя. Его предисловие к Энциклопедии и его основные начала философии суть классические сочинения и содержат семена бесчисленных изысканий. Я настолько знаю математику, что могу оценить великие открытия этого великого человека и видеть в нем величайшего геометра нынешнего века. Много также почерпнул я для своего поучения из сочинений аббата Кондильяка, которые, по моему мнению, образцы точности, ясности и хорошей метафизики. Недавно я имел честь познакомиться с ним в Милане и связаться с ним дружбой»².

Долгое время считалось, что Беккариа находился под исключительным влиянием французских просветителей. Доказательство этого видели в личных заявлениях Беккариа, только что приведенных нами, а также из следующего места в начале письма к Морелле. «Не могу выразить Вам, — писал Беккариа, — насколько мне лестно, что сочинение мое переведено на язык нации, которая просвещает и поучает Европу. Я всем обязан французским книгам. Это они развили в моей душе чувства человеколюбия, заглушенные восемью годами фанатического воспитания».

В письме к Морелле надо прежде всего учесть то чувство радости, которое испытывал молодой автор, получив известие, что его книга переведена на французский язык и стала благодаря этому известна всей Европе. Затем письмо являлось ответом на приветствия и поздравления, которые Морелле передавал Беккариа от имени своих друзей — Дидро,

¹ Bouvy E. Le compte Pietro Verri (1728—1797) ses idées et son temps. Paris, 1889. P. 300.

¹ Мысли об объяснении природы, 1754.

² Основной труд Кондильяка «Трактат об ощущениях» вышел в 1754 г.

Даламбера, Бюффона, Гельвеция и Юма, бывшего в то время в Париже. «С благодарностью и смущением, — писал Беккариа в письме к Морелле, — принимаю я приветствия, которые Вы передаете от этих знаменитых людей, приносящих честь человечеству. Даламбер, Дидро, Гельвеций, Бюффон, Юм — имена знаменитые и которые нельзя произносить без волнения». И далее Беккариа прямо обращает свою речь к ним: «Бесмертные творения Ваши составляют мое постоянное чтение, предмет дневных моих занятий и размышлений в тиши ночной».

Любопытно, что в своем письме Беккариа не упоминает о Вольтере и Руссо, влияние которого сказалось так сильно в книге «О преступлениях и наказаниях» в договорной теории происхождения общества и в вопросах воспитания, а между тем в своей книге Беккариа называл Руссо «великим человеком, просвещающим человечество». Очевидно, Беккариа поступил так потому, что ему был известен разрыв Руссо с Дидро и энциклопедистами, наступивший после 1754—1755 гг.

Не ссылается Беккариа и на английских мыслителей как на своих учителей, за исключением Юма. Только в одном месте письма к Морелле сколько-нибудь упоминает он о Бэконе. Дело в том, что Морелле в первом письме перечислял все свои труды и сообщал, что он согласился взяться за издание «Коммерческого словаря» в пяти или шести томах ин-фолио и опасался, «как бы Беккариа не изменил своего о нем мнения к худшему»¹. Беккариа отвечал на это: «Ваши фолианты не могут быть из числа тех, которые не читаются. Энциклопедия и Бэкон также фолианты, а ваше сочинение такого же типа».

Характерно, что Беккариа сопоставляет Бэкона с Энциклопедией в целом. Сравнение же Морелле с Бэконом является не больше чем простым комплиментом.

Впервые Амати обнаружил в архиве Беккариа объемистый том собственноручных его выписок из сочинений Бэкона с надписью на латинском языке «Франциска Бэкона Веруламского — О достоинстве и усовершенствовании наук и из Нового органа выписки — для личного пользования — не для других предназначил Цезарь Беккариа Бонесана² — в год 1763-й — в первый после обновления наук», т.е. после своего обращения к занятиям философией.

Амати рассказывает, что эта рукопись находилась в его руках только очень короткое время. Он успел лишь списать приведенную выше надпись и бегло просмотреть содержание. «Велико было мое удивление, — пишет Амати, — видеть на этих страницах афоризмы и отрывки из книги Беккариа “О преступлениях и наказаниях”».

Амати не мог сразу сопоставить «выписки» с книгой, но впоследствии он сравнил с ней сочинения Бэкона и пришел к заключению, что «немало мест, и притом существенных, в книге Беккариа являются или буквальными, или свободным переводом из Бэкона». В доказательство своего утверждения Амати сопоставляет на нескольких страницах «афоризмы и места из Бэкона» с «параграфами и местами из Беккариа». Но это сопоставление показывает, что Амати не имел никаких оснований к своему столь решительному заявлению. Казалось бы, больше всего Беккариа мог почерпнуть из бэконовского «Трактата о всемирной юстиции или Об источниках права в одном титуле, в афоризмах». (Конец восьмой книги сочинения «О достоинстве и усовершенствовании наук».)¹ Но если мы обратимся непосредственно к этому «трактату», то увидим, что исходные положения его и задачи совершенно не те, что у Беккариа. В своих 97 афоризмах Бэкон выдвигает правила, которым должна соответствовать разумная кодификация действовавшего в его время английского права, правила судебного толкования, в том числе и пополнения уголовных законов в случае отсутствия их. Бэкон — противник бесчисленных комментариев, но он стоит все же за «один хороший комментарий». При кодификации законов он советует «древние фолианты» (*Vetera volumena*) хранить в библиотеках для справок. В нескольких афоризмах содержатся, наконец, указания о преподавании юриспруденции, в том числе указывается необходимость изучения «процессуальных формул». Во всем трактате нет даже намека о том, что законы защищают привилегированное меньшинство.

Достаточно сопоставить со всеми этими положениями взгляды Беккариа на «законы» его времени, на «комментарии», его отрицание права за судьями толковать законы, чтобы понять, насколько самостоятельно мыслил Беккариа. И если Бэкон писал, что лучшее достоинство законов — их «определенность» (*ut sint certae*), а Беккариа говорил, что законы должны быть ясны (§ V), то внешнее сходство не должно закрывать от нас различия в содержании².

Вместе с тем мы отнюдь не отрицаем влияния общефилософских воззрений Бэкона на Беккариа, подобно тому как он оказал влияние на французских материалистов XVIII в.

Обращение Беккариа к Бэкону Амати объясняет его желанием ознакомиться с «наставником своих наставников». Амати правильно отмечает далее, что довольно большая разница существует между прочтением какого-либо труда и изучением его с отметками и выписками. В особенности для Беккариа, «столь ленивого на письмо», по его собственному признанию.

¹ Впервые переписка Морелле с Беккариа была опубликована Редерером в издании книги Беккариа (перевод Морелле) в 1797 г. Но первое письмо Морелле печаталось с черновика, сохранившегося у Морелле, с большими пропусками. Ландри опубликовал это письмо по подлиннику, найденному им в архиве Беккариа. Ландри установил и правильную дату этого письма — 3 января 1766 г. Беккариа ответил на него 26 января 1766 г.

² Вторую фамилию Беккариа получил от своего крестного отца — графа Бонесана.

¹ В английском издании сочинения Бэкона 1877 г. в том I помещен латинский оригинальный текст этого сочинения, в том V — английский его перевод с комментариями.

² Читающий книгу Амати может быть введен в заблуждение и тем обстоятельством, что автор почти сплошь не цитирует Бэкона, а передает содержание его афоризмов на итальянском языке.

Свою книгу «О преступлениях и наказаниях» Беккариа начал писать, как это точно установлено (см. главу V), в марте 1763 г. и закончил в январе 1764 г. Но работать над Бэконом он начал раньше. Имеющиеся на рукописи указания на 1763 г. нас не должны смущать. Ландри впервые сделал достоянием науки девять писем Беккариа к его другу, графу Биффи, написанных в 1762 и 1763 гг. В одном из них, относящемся к сентябрю или к началу октября 1762 г., Беккариа просит своего друга хладнокровно отнестись к тому, что письмо будет кратким, так как он «полностью поглощен переписыванием некоторых сочинений Бэкона Веруламского, которого можно — помимо того, что он принадлежит к числу высших гениев, — назвать законодателем ума (*dell' intelletto*)».

Не случайно, конечно, что эпиграфом к своей книге Беккариа взял слова Бэкона: «В делах наиболее трудных нельзя ожидать, чтобы кто-нибудь сразу и сеял и жал, а надо позаботиться, чтобы они постепенно созрели»¹. Нам кажется, далее, что Беккариа имел в виду не Руссо, как это полагают некоторые (Эли, Эссельборн), а именно Бэкона, когда он писал в «Введении» своей книги: «Заслуживает признательности людей тот философ, который из своего скромного и уединенного кабинета осмелился бросить в массы первые, долго не всходившие семена полезных истин».

Что французские писатели оказали на Беккариа большое влияние — это бесспорно. Но совершенно прав Ландри, подчеркивая, что на Беккариа и его миланских друзей в равной мере оказывала влияние и английская литература. Кружок, группировавшийся в Милане в 1762—1766 гг. вокруг Пьетро Верри и Беккариа, сравнительно мало занимался итальянскими писателями, разве только Галилеем и Макиавелли и некоторыми современными им, как Бетинелли и Альгаротти². Но зато в этом кружке, как указывает Ландри, читались и обсуждались сочинения Бэкона, Свифта, Аддисона, Драйдена, Попа, Юма. Ландри устанавливает далее, что Беккариа был знаком с Локком и Гетченсоном³. «Влияние первого, — замечает Ландри, — заметно на всех трудах Беккариа». В отрывке, не вошедшем в напечатанное в 1770 г. сочинение «О стиле», Беккариа говорит, что «бессмертная заслуга Локка состоит в том, что он составил эпоху человеческого духа; ему мы обязаны тем, что проведена черта между древним духом и современным» (Ландри). У Гетченсона Беккариа заимствовал, по мнению Ландри, руководящую идею всей своей социальной морали: «То действие является наилучшим, которое составляет наибольшее счастье для наибольшего числа людей».

Предложение Беккариа о замене смертной казни уголовным рабством, как это отмечалось многими исследователями, напоминает соответству-

ющие мысли Томаса Мора в его «Утопии». Мы, к сожалению, не располагаем статьей Креспи «Философско-юридическая мысль Чезаре Беккариа»¹, где, по-видимому, обстоятельно изучены источники взглядов и идей Беккариа. Но уже из приведенного видно, что Беккариа упорно работал над философской литературой.

Прибавим еще, что, готовясь и читая лекции по политической экономии с января 1769 по апрель 1771 г. (см. главу IX) и написав значительную часть курса, Беккариа должен был иметь большие познания и по экономическим вопросам.

В письме к Морелле он писал: «Единственное мое занятие состоит в том, что я предаюсь в тишине философии и удовлетворяю таким образом три живейшие мои чувства: любовь к ученой славе, любовь к свободе и сострадание к несчастьям людей, поработанных столь многими заблуждениями».

¹ Взято из: *Serm o nes fidelium*, XLV.

² Бетинелли (1718—1808) нашумел в 1757 г. своими «Виргиниевыми письмами», выступая против классиков, в том числе и Данте. Переписывался с Вольтером. Альгаротти (1712—1764) жил долго во Франции, был дружен с Вольтером. См. о них: Овэрт А. Указ. соч. С. 263.

³ Гетченсон (Hutshenson).

¹ Crespì. Il pensiero filosofico e giuridico di C. Beccaria. Rivista di filosofia e scienze affini, 1907.

ГЛАВА IV

Дружба с братьями Верри. «Миланская колония французских энциклопедистов». Журнал «Кафе»

«Это выдающийся по качествам своего сердца и ума и самый дорогой мой друг, — пишет Беккариа о Пьетро Верри в своем письме к Морелле. — Кажется, что я питаю к нему такой же энтузиазм дружбы, какой был у Монтеня к Этьену де Бозен».

В исследовании Буви (см. выше), посвященном графу Пьетро Верри (1728—1797), не использованном до сих пор в русской и немецкой литературе о Беккариа, содержится ценный материал, относящийся и к самому Беккариа.

Как и Беккариа, Пьетро Верри воспитывался в иезуитском колледже с девяти до двадцати одного года. Верри любил художественную литературу, обожал театр, но отец его, важный миланский сановник, сенатор, ревниво относившийся к своим отцовским правам, желал, чтобы его старший сын пошел по той же дороге. «Волей-неволей, — замечает Буви, — молодому человеку пришлось засесть за Карпцовиуса, Фаринациуса и других мало радостных комментаторов миланских законов». Но все же отцу не удалось переломить сына, которого неудержимо влекло к литературе и науке. В желании пробить себе самостоятельную дорогу Верри бросил занятия юриспруденцией и отправился в Вену, был одно время даже на австрийской военной службе. Случайная встреча с одним офицером, англичанином по происхождению, толкнула его к занятиям философией. «Он стал жадно читать Локка, Монтескье, Вольтера, Руссо, Гельвеция». «Не примыкая ни к какой системе, он, — говорит Буви, — занялся философией ради нее самой, ради ее возвышенных стремлений, за ту ее моральную силу, которой не давала ему среда и которую он надеялся найти в философии». Наряду с философскими сочинениями Верри интересовался и экономистами, как английскими, так и французскими. В конце 1760 г. Верри вернулся в Милан. К этому времени окончил иезуитский колледж и его младший брат Алессандро (1741—1816). Алессандро стал заниматься в Коллегии юрисконсультов, которую миланский патрициат создал для тех молодых дворян, которые пожелали посвятить себя судебной карьере. Но и Алессандро Верри не пошел впоследствии по дороге отца.

Знакомство Беккариа с братьями Верри, перешедшее в дружбу, произошло, видимо, еще в 1761 г. Пьетро был на целых десять лет старше Беккариа, с большим житейским опытом, человеком более твердого и

решительного характера, чем Чезаре, и мог поэтому оказывать на него известное влияние. Алессандро, чрезвычайно жизнерадостный, неустойчивый в своих взглядах, но весьма способный юноша, был на три года моложе Беккариа.

Мы уже упоминали о той роли, которую Пьетро Верри сыграл в деле примирения Чезаре со своим отцом. Пьетро первый же и побудил Беккариа выступить с литературной работой, которая могла бы обратить на него внимание правительственных кругов и облегчить получение государственной должности, что обеспечило бы материальную независимость от отца. В начале 1762 г. Беккариа выпустил в свет небольшую брошюру «О недостатках монетной системы в миланском государстве и средствах к ее исправлению». Брошюра была по цензурным соображениям отпечатана не в Милане, а в городе Лукка, и анонимно.

Работа написана, по характеристике Амати, «с ясностью и математической точностью и заслуживает похвалы не за новизну идей, а за ясность и силу применения здоровых экономических начал к условиям Северной Италии». Работа была встречена с одобрением в ряде городов Италии, в особенности в Турине с его наиболее развитой в то время буржуазией, но не встретила сочувствия в старом поколении правящих кругов Милана. Маркиз Кариани выпустил немедленно брошюру против Беккариа, но братья Верри осмеяли его в изданных в том же году памфлетах.

Все же в 1763 г. официально было приступлено к обсуждению денежной реформы, которая и была проведена в 1777 г. при ближайшем участии в ней самого Беккариа. «Современники и потомки, — замечает с горечью Амати, — восхваляли Марию Терезию за денежную реформу, но разве более всех не заслуживает благодарности народов философ, уклавший правителям способ восстановить богатство своей страны?»

Уже первая работа Беккариа показывает, что юный мыслитель интересовался не только отвлеченными философскими вопросами, но и требованиями практической жизни, потребностями зреющего в недрах феодализма буржуазного общества. О том, что этого рода идеи отразились в книге «О преступлениях и наказаниях», нами уже было отмечено.

Путешествуя по Италии, Морелле прожил в 1758 г. в Милане два месяца. В «Мемуарах о XVIII в. и французской революции», которые он начал писать в 1797 г. семидесятилетним старцем, вспоминая о своем пребывании в этом городе, он говорит, что пользовался отличной кухней, слушал хорошую оперу, посещал балы и вообще вел жизнь «не столь уже метафизическую, потому что школы миланских философов — Пьетро и Алессандро Верри, Фризи, Беккариа — еще не существовало или во всяком случае она была недостаточно известна, чтобы привлечь его внимание». «Я только позже, — пишет Морелле, — увидел этих людей, сделавших честь своей родине. Но за отсутствием философии я находил ежедневно утешение в музыке и в беседах с кавалером Липпи, который сочинял музыку и часто давал нам концерты»¹.

¹ Mémoires sur la dix-huitième siècle et sur la Révolution française. Paris, 1821. Т. I. P. 79.

«Школа миланских философов» — кружок Верри—Беккариа — стал создаваться только в 1762 г. после возвращения Пьетро Верри в Милан. Буви приводит список одиннадцати молодых миланцев, образовавших этот кружок. Среди них семь титулованных дворян и четыре представителя «третьего сословия», между последними — адвокат, оптик и математик (Паоло Фризи). Перечисляя в письме к Морелле часть из них, Беккариа пишет: «В уединении и молчании занимаемся мы доброй философией, которой здесь боятся или презирают. Поверьте, сударь, что французские философы завели колонию в этой Америке и что мы их ученики, ибо мы ученики разума». И в другом месте того же письма: «Я веду жизнь спокойную и уединенную, если можно назвать уединением избранное общество друзей, в котором ум и сердце пребывают в постоянном движении. У нас одинаковые занятия и одинаковые удовольствия. В этом мое прибежище, которое препятствует мне чувствовать себя в моем отечестве как в изгнании». Такое же чувство отчужденности от окружавшей его миланской среды испытывал и Пьетро Верри.

Стоит перечитать сотню с лишком страниц «Мемуаров» известного авантюриста Казановы¹, посвященных его пребыванию в Милане в начале 1763 г., т.е. года, когда писалась книга «О преступлениях и наказаниях», чтобы почувствовать, какая глубокая пропасть отделяла Беккариа и его друзей от аристократического миланского общества. В «Мемуарах» Казановы перед нами проходит жизнь, полная праздности, бесконечный зимний карнавал, длящийся дольше, чем в других итальянских городах. Безудержная азартная игра, которой занимались даже в театрах, во время антрактов. По развращенности нравов своих аристократических верхов Милан не отставал от Парижа, а обедневшие графы и маркизы не останавливались перед тем, чтобы сводничать и торговать своими женами, дочерьми или сестрами.

И вот в этом городе кружок Верри—Беккариа решил издавать журнал в целях распространения своих просветительных идей. На мысль об издании их натолкнул английский журнал *Spectator* («Зритель»), в котором принимал участие писатель Адиссон². «Будучи убежден с друзьями своими, — писал Беккариа Морелле, — что периодические издания являются одним из лучших средств привлечь к какому-нибудь чтению умы, неспособные к серьезным занятиям, мы стали печатать листки наподобие “Зрителя”, который так много способствовал образованию ума и успехам здравого рассудка».

Журнал, который был назван «Кафе» (*Le Caffè*), издавался раз в десять дней. Всего вышло за время его существования с июня 1764 по май 1766 г. 74 номера. В передовой статье первого номера писалось, что журнал ставит целью будить и развивать интерес итальянцев к литературе, уважение к наукам и искусству и, «что еще более важно, — любовь к добродетели, честности в выполнении своих обязанностей».

В политическом смысле «Кафе» был далеко не радикальным изданием. Правда, для миланского кружка было истиной, что Италия является общей родиной для всех итальянцев. Это ясно и недвусмысленно выражено в статье Пьетро Верри «Об отечестве итальянцев». Следует тут же отметить, что и Беккариа обращался со своей книгой к «Италии». Но отсюда еще далеко до идеи борьбы за объединение и за независимость Италии. Впрочем, австрийское правительство предоставляло своим итальянским владениям в XVIII в. довольно большую культурную автономию, и не было речи о том угнетении, которое проявилось в первую половину XIX в., в реакционной эпоху Меттерниха. Разрешения социальных вопросов кружок «Кафе» ждал не от борьбы с правительством «просвещенного абсолютизма», а от сотрудничества с ним.

Вопросов религии журнал совсем не касался. Вообще, как замечает Буви, «философы “Кафе” являлись весьма умеренными энциклопедистами». Но тем ярче — скажем мы — выступает революционный и боевой характер книги Беккариа.

Несравненно радикальнее выступал «Кафе» по вопросам литературы, резко ополчаясь против лживости и манерности, господствовавшей в художественной итальянской литературе в первой половине XVIII в., против «аркадских пастушков», но также и против погони за «пуризмом» — чистотой языка. Излишние крайности в этом отношении, может быть, и были причиной того, что поэт Парини, столь близкий по своим социальным идеям к Беккариа, не являлся сотрудником журнала.

Во всяком случае, журнал «Миланских энциклопедистов» сыграл немалую роль в развитии итальянской общественной мысли. Журнал стал известен и за границей. Многие статьи были переведены и напечатаны на французском и немецком языках. В мировую историю журнал «Кафе» и кружок «Миланских энциклопедистов» вошли потому, что среди них жил и работал Чезаре Беккариа.

Перу Беккариа принадлежит в журнале ряд статей. В «Очерке о запахах» он дал новую классификацию их и проводил аналогии между запахами и цветами, с одной стороны, звуками и вкусами — с другой. Из отрывка «О стиле» впоследствии выросло целое исследование, напечатанное в 1770 г. В статье «О периодических листах» Беккариа разъясняет различие между книгами и периодической печатью и чрезвычайно здраво, как замечает Амати, оценивает значение журналистики. Беккариа выступил и против азартных карточных игр, распространенных среди миланской «золотой» молодежи. В статье «Фараон» (название одной игры) он отнюдь не прибегает к моральной проповеди. Он приводит в виде диалога спор между игроком и «геометром», который математически доказывает первому, что банкومت всегда имеет огромное преимущество. В другой статье при помощи алгебры он выясняет возможности выигрыша и проигрыша лиц, занимающихся контрабандой.

Огромный интерес представляет статья «О наслаждениях воображения», помогающая понять личность самого Беккариа, статья, не использованная до сих пор в русской литературе.

Большая сила людей, по мнению Беккариа, чтобы испытать наслаждение, нуждается в непосредственном воздействии на них находящихся

¹ Memoires de Jacque Casanova. Брюссельское изд., 1863. Т. V. С. 195—333.

² Журнал «Зритель» был основан в 1711 г.

в наличии предметов. «Но мудрец, знающий, как редки и мимолетны наслаждения, предоставляемые нам быстро преходящим случаем, умеет с помощью волшебного воображения продлить, украсить, расширить ту малую частицу их, которую судьба ему дарует». В отличие от физических наслаждений «наслаждения воображения, приобретаемые без опасности, которым большинство не завидует и которые не ценит, доставляют душе если и не высшее блаженство, то во всяком случае спокойствие... В делах человеческих необходимо усвоить себе известное философическое равнодушие (*indolezza*) как в практических делах, так и в исканиях истины. Не гонись за чувственными впечатлениями, не спеши жить, помни, что слишком много переживаемое в одних мгновениях идет за счет других мгновений. Наблюдай со стороны, как люди слепо и спутанно сталкиваются между собой... делай им добро из такого отдаления, чтобы они не затянули тебя в свой водоворот... Счастливым наблюдателем, наслаждайся в тишине краткими мгновениями, которые отпущены тебе от твоего рождения до того, как ты исчезнешь... Чтобы люди оставили тебя в мире, нужно, чтобы ты был в мире с самим собой. Не оскверняй себя никаким проступком: будь справедлив со всеми существами, тебя окружающими. Пусть даже звери, которых попирает гордый и жестокий человек, испытывают твою справедливость. Но, прежде всего, не воображай, что ты земное совершенство, т.е. не будь человеком, который хотел бы обладать совершенными манерами, совершенным красноречием, совершенной ученостью».

«Будь другом счастливого уединения, часто удаляйся из тесных городов, — заканчивает Беккариа. — Проводи свои дни среди свободной природы, этого наиболее древнего храма божества. Горы вторят твоим песням, а прибой моря сопровождает твои напевы. Там, размышляя, ты познаешь главные звенья вечной цепи, там ты почувствуешь ничтожество наших забот и наших учреждений. Если ты везде найдешь разрушительные следы человека, то прежде всего ты увидишь мудрую Природу, восстанавливающую разрушения, ибо человек может только изменять, но не уменьшать неисчерпаемый запас жизни, который хранится в груди Природы»¹.

Как мы уже сказали, журнал «Кафе» перестал существовать с мая 1766 г. В последнем выпуске, прощаясь с читателями, редакция объясняла это назначением Пьетро Верри членом Высшего экономического совета, созданного в Милане австрийским правительством, и предполагаемой поездкой в Париж Беккариа и Алессандро Верри. Но возможно, что здесь сыграло свою роль и равнодушие миланского общества. Недаром Беккариа писал Морелле в своем письме: «Страна эта погружена еще в предрассудки, оставшиеся в ней от ее старых повелителей². Миланцы не прощают тем, кто хотел бы их заставить жить в XVIII в. В столице со ста двадцатью тысячами жителей едва ли наберется двадцать лиц, которые любили бы образовывать себя и приносили бы жертвы истине и добродетели».

¹ Цит. по Аматти.
² Испанцев.

ГЛАВА V

История написания книги «О преступлениях и наказаниях»

Много легенд создано в мировой литературе вокруг истории написания книги Беккариа «О преступлениях и наказаниях».

Как только книга появилась во французском переводе Морелле в конце 1765 г., по Парижу распространились слухи, что она «сфабрикована» во Франции, что затем ее послали в Италию для перевода и опубликования на итальянском языке с тем, чтобы снова перевести на французский язык. Гримм в своей «Корреспонденции» от 1 декабря 1765 г. приписывает происхождение этих слухов «врагам философии». «Изумительно то, — замечает Гримм, — что это мнение довольно широко распространено в Париже и что вам на ухо шепчут с известным тонким и довольным видом: эта книга пришла к нам не издалека». Гримм возмущается не только тем, что французских философов считают способными на такого рода уловки: «Молчаливо и полностью устанавливается теорема, что здравый смысл существует только во Франции и что только в ней можно написать хорошую книгу»¹.

Несмотря на всю вздорность такой легенды, публично воспроизвел ее в 1779 г. французский писатель Линге, противник энциклопедистов, утверждавший в своих «Политических и литературных анналах», что «книгу написали сами энциклопедисты и предоставили невежественному Беккариа опасную славу опубликования ее на итальянском языке» (Кантú). К тому времени личность творца книги «О преступлениях и наказаниях» была хорошо известна всей Европе, и утверждение Линге было просто-напросто литературной клеветой.

Вторая легенда заключалась в том, что мысль о написании книги принадлежит французским энциклопедистам. Немецкий ученый Герц в своем капитальном исследовании «Вольтер и французская уголовная юстиция в XVIII в.» (вышло в 1887 г.) без ссылки на какие-либо источники и документы прямо заявляет, что под впечатлением дела протестанта Каласа (невинно осужденного в Тулузе по обвинению в убийстве своего сына, перешедшего в католичество и казненного 10 марта 1762 г.) энциклопедисты написали в Милан, что пора выступить против жестоких наказаний и тирании розыскного процесса, от которого стонет вся Европа, и что когда этот призыв дошел до кружка «Кафе», то Беккариа взялся вы-

¹ Correspondence Littéraire philosophique et critique par Grimm, Diderot etc. Парижское изд., 1878. Т. VI. P. 425.

полнить это поручение. В русской литературе ту же легенду независимо от Герца распространяет переводчик Беликов. Он вводит даже такую подробность, что одному из членов кружка «Кафе» было послано письмо «секретарем (!?) энциклопедистов». В статье, приложенной к переводу, Беликов¹, как и Герц, не указывает источников, на которых основывается его утверждение. Но в своей более ранней статье о Беккариа, напечатанной в Журнале министерства юстиции за 1863 г. (№ 7), он ссылается на статью некоего Филарета Шаль в *Journal des débats* (1862), источник — весьма сомнительный, судя по другим данным, которые приводит Беликов в первой своей статье.

Итальянскими биографами эта легенда отвергается. Отвергает ее и автор последнего по времени немецкого перевода книги Беккариа Эссельборн².

Но все же и Эссельборн считает, что дело Каласа было «косвенным поводом» к написанию книги и явилось ее «большим историческим фоном», в силу чего Эссельборн и счел необходимым изложить на нескольких страницах историю этого процесса и кампанию, предпринятую Вольтером за пересмотр его. Нисколько не отрицая, что дело Каласа привлекло благодаря Вольтеру внимание всей просвещенной Европы к судебным порядкам того времени и тем содействовало успеху книги Беккариа, мы тем не менее считаем, что не только идея написания книги зародилась не в Париже, а в Милане, но что равным образом «фоном» ее явилась не Франция, а Италия, в особенности место родины Беккариа.

В начале 1762 г. Алессандро Верри был назначен «протектором» миланских тюрем — должность, занимавшаяся представителями миланской аристократии по назначению сената. В обязанности «протектора» входило посещение тюрем, принятие жалоб заключенных, ускорение хода их процесса, ходатайство о помиловании осужденных, если они «раскаивались и исправлялись». Затронутый благодаря влиянию старшего брата просветительными идеями XVIII в., молодой Алессандро не мог остаться равнодушным к тем страданиям, которые испытывали заключенные, подвергаемые пыткам, содержащиеся в ужасных условиях тюрем XVIII в. Он не мог не делиться своими впечатлениями с друзьями, которые, как и он, отрицательно относились к существующим судебным порядкам, к жестокости наказаний того времени. Один из ранних биографов Беккариа — Вилла (1820), рассказывая о деятельности Алессандро, пишет: «Юные миланские философы находили, что нельзя упускать такую прекрасную возможность сослужить особую службу человечеству. И, по общему соглашению, работа над столь важной темой была поручена Беккариа, помимо своих глубоких познаний обладавшему большой силой пера и имевшему дар горячего красноречия, которое, в соединении с истиной, волнует, побеждает и покоряет читателя»³.

Не могли не затронуть юных миланских философов и события, взволновавшие политическую жизнь Венецианской республики как раз в первые годы существования их кружка. В 1761 г. «генеральным адвокатом» в этой республике был избран Анжелло Квирини, последователь Вольтера. Он выдвинул вопрос о реформе уголовного процесса и требовал отмены существовавшего сотни лет так называемого «Совета Десяти». Этот «Совет» был политическим судилищем, страшным орудием аристократической верхушки, правившей республикой. Особенности его заключались в том, что он действовал по доносам, которые оставались тайной для обвиняемых. Квирини был немедленно арестован, а в следующем году консервативной партии удалось в «Большом Совете» провалить предложение Квирини и, более того, возбудить венецианское простонародье против его сторонников, которое пыталось даже сжечь их дома. (Весьма обстоятельно, с приведением документов рассказана эта страница из истории Венеции у Кантú.)

Непосредственным отражением венецианских событий и может рассматриваться «наиболее красноречивая» (Амати) глава книги Беккариа «Тайные обвинения» (§ XV). «Венецианские олигархи», как только книга попала в их руки, решили, что ее написал или сам Квирини, или кто-нибудь из партии, стоящей за реформу. Немедленно был издан указ, запрещающий под страхом смертной казни распространение книги Беккариа во владениях Венеции. Кроме того, венецианское правительство выступило и «идеологически» против автора книги «О преступлениях и наказаниях». По его поручению ученый монах Факинеи в два-три месяца изготовил объемистую брошюру «Заметок и замечаний» на книгу Беккариа, а эта брошюра являлась прямым доносом церковным и светским властям на автора книги (см. следующую главу).

Беккариа в своем письме к Морелле ни словом не упоминает о деле Каласа, но, говоря о Факинеи, пишет: «Человек этот хотел выслужиться перед (Венецианской) республикой, напав на сочинение, которое она подвергла строгому запрету, думая, что оно вышло из-под пера одного из ее подданных из партии, враждебной государственными инквизиторам, во время последних беспорядков, имевших место в Венеции».

Запрет с книги Беккариа был снят в Венеции лишь в 1781 г.

Для того чтобы почувствовать всю свирепую жестокость «юстиции» XVIII в., не надо было даже выезжать из Милана. Амати сообщает, что за двадцатилетие, с 1741 по 1762 г., в Милане было осуждено к тюремному заключению и смертной казни семьдесят тысяч человек, неоднократно регистрировалось по шести казней в день! От эпохи Беккариа (1775) сохранился тариф оплаты миланского палача при выездах его за город. За казнь через повешение, колесование или обезглавление — по 126 ливров; за кнут, выставление у позорного столба, за отрубание рук — по 30 ливров; если смертной казни предшествовало привязывание к хвосту лошади — надбавка в 25 ливров и т.д. Кроме того, палач получал «суточные» в размере 30 ливров (Кантú).

¹ Маркиз Беккариа «О преступлениях и наказаниях», 1889.

² Über Verbrechen und Strafen. Übersetzt von Esselborn, 1905.

³ Цит. по: Спирито У. История итальянского уголовного права, 1925. С. 55. (Ugo Spirito. Storia del diritto penale italiano.)

Но, видимо, сил одной «юстиции» бывало недостаточно. Кантú рассказывает, что в 1763 г. в Ломбардии был опубликован указ, перечисляющий имена 256 разбойников. Через два года к ним было прибавлено еще 360 имен. Этим указом разбойникам разрешалось безнаказанно убивать друг друга. Попадавшие же непосредственно в руки «правосудия» сжигались живьем. Невольно вспоминается глава из книги Беккариа «О назначении цены за голову преступника» (§ XXXVI), где он возмущается тем, что государство превращает каждого гражданина в палача, и говорит, что «подобный указ спутывает все понятия о нравственности и добродетели».

Гениальность Беккариа сказалась в том, что нарисованной им картиной суда и наказания, которая ему была известна по итальянской жизни, он придал такие черты, дал такие краски, что она казалась отображением любой европейской страны, в которой господствовали абсолютистско-феодалные порядки. Вот почему его книга заслужила «признательность скромных и мирных последователей разума». Когда в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева (1790) мы читаем, что «несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у него слезы», то видим, что надежда Беккариа сбылась: «чувствительные сердца» откликнулись «на призыв защитников интересов человечества».

Теперь необходимо разобраться еще в одном вопросе, «неоднократно разрешавшемся и всегда вновь возрождавшемся», как замечает Ландри, а именно о степени участия братьев Верри, в особенности Пьетро Верри, в духовном творчестве над книгой «О преступлениях и наказаниях». Этот вопрос возбуждал споры уже через два-три года после выхода книги. В 1910 г. было опубликовано письмо Пьетро Верри к брату, написанное вскоре после разрыва их с Беккариа (1767), в котором Пьетро сообщал, что Беккариа «потребовал от него свою хранившуюся у него рукопись книги, “чтобы иметь возможность доказать, что сочинение принадлежало ему”» (Ландри).

Вопрос этот заслуживает тем большего внимания, что в новейшее время, не считаясь ни с исследованиями Буви, ни, тем более, с исследованием Ландри, хотя и то и другое ему известны, фашистский историк итальянского права Уго Спирито в указанной выше работе всячески стремится низвести творческую роль Беккариа в деле создания книги.

Приведя рассказ Вилла о том, как возникла идея написания книги, Спирито продолжает: «Так родилась книга, и идеи, в ней выраженные, являются скорее не плодом мысли автора, а итогом сотрудничества всех членов кружка “Кафе” — выводами, к которым приходили после долгих и оживленных обсуждений, которые и явились существенным импульсом для самого энтузиазма и самой страстности Беккариа».

В своих выводах Спирито опирается далее и на известное в литературе о Беккариа еще с 1879—1881 гг. письмо Пьетро Верри к одному из своих друзей¹. Письмо это было написано 1 декабря 1765 г. по приезде

¹ В эти годы была опубликована Казати переписка братьев Верри в четырех томах.

Беккариа в Париж и, следовательно, в то время, когда дружба братьев Верри с Беккариа ничем еще не была омрачена. «Книга, — писал Верри, — принадлежит Беккариа. Тема (*l'argomento*) дана ему мною, и большая часть мыслей является результатом разговоров, которые ежедневно велись между Беккариа, Алессандро, Ламбертенги и мной. Мы проводили вечера вместе в одной комнате (в доме Пьетро Верри), каждый за своей работой. Алессандро занимался историей Италии, я — моими политико-экономическими работами, другие читали, Беккариа скучал и докучал другим.

С отчаянья он обратился ко мне за темой. Я указал ему эту, зная, что для человека красноречивого и с живейшим воображением она как раз подходит. Но он ничего не знал о нашей уголовной практике (*metodi criminali*). Алессандро, бывший протектором заключенных, обещал ему помочь. Беккариа стал набрасывать мысли на отдельных листах бумаги. Мы следили за ним с восхищением и так его распалили, что он набросал целый ворох мыслей. После обеда мы прогуливались, беседовали о заблуждениях уголовной юриспруденции, спорили, поднимали вопросы, а вечером он садился писать. Но писать было для него столь трудно и стоило ему такого напряжения, что через час он падал от усталости и не мог продолжать. Собрав написанное, я переписал, получился известный рядок, и создалась книга».

В этом письме надо прежде всего остановиться на замечании Верри, что Беккариа «ничего не знал о нашей уголовной практике». Беккариа, конечно, не мог знать технических правил ведения уголовных дел, порядка возбуждения их, ведения допросов и протоколов, прохождения дела по инстанциям и т.п. Но Беккариа и не собирался написать «трактата» по уголовному праву с ссылками на все источники. Общее представление о юриспруденции того времени он получил за двухлетнее пребывание в университете и в достаточной мере овладел там техникой пользования «источниками» права, без чего нельзя было бы получить и докторскую степень. Уже несколько лет спустя после окончания университета Беккариа написал полушутливое, полусерьезное «Академическое рассуждение о VI, VII и XII титулах Пандект»¹. Эта рукопись была обнаружена Ландри в архиве Беккариа, но он не счел необходимым опубликовать ее ввиду ее малой значимости. Но наличие такой работы свидетельствует о том, что Беккариа далеко не был так беспомощен в юридических вопросах. Надо далее учесть и особенности Беккариа как писателя. В предисловии к своему сочинению «О стиле», напечатанному в 1770 г., он прямо пишет: «Я не хочу прибегать к слишком легкому и слишком общему приему составления длинного каталога авторов и их отношений и взглядов на предмет, о котором говорится в настоящем труде. Изобильные и легко составляемые компиляции, столь распространенные в настоящее время повсюду, легко привели бы к тому, что я подверг бы испытанию терпение моих читателей приведением вороха цитат, сопоставлением парал-

¹ В этих титулах говорится «о привилегиях наследников» и «о разводах».

лельных мест, трудолюбивым опровержением различных мнений, обсуждением с микроскопическим прилежанием малейших различий всех этих мнений и изречений. Но я, — заканчивает Беккариа, — охотно отказываюсь от славы ученого и начитанного человека, чтобы постараться приобрести славу, более завидную и более позднюю, состоящую в том, что я приумножил число точных и адекватных понятий в вопросах, имеющих в виду или пользу, или невинное блаженство людей...»

Алессандро Верри мог, несомненно, оказать помощь Беккариа тем, что он рассказывал об условиях содержания в тюрьмах, о том, как подвергают людей пыткам, как добиваются признаний от подсудимых, рассказывал об отдельных преступниках и их преступлениях — словом, снабжал его «человеческими документами». Творческая переработка всего этого материала была выполнена самим Беккариа.

Спирито считает Беккариа «неспособным к истинной и собственной оригинальности замысла и к инициативе», утверждая, что он сам не защищал своих авторских прав и не один раз предоставлял другим исправлять и перерабатывать свою книгу. В качестве доказательства приводится известное письмо Беккариа от 13 декабря 1764 г., при котором он пересылал Пьетро Верри свои дополнения к третьему изданию¹. «Что касается до поправок книги и самой книги, то режь, дополняй, исправляй свободно, чем окажешь мне большую услугу и удовольствие».

Ландри не только первый из исследователей научно изучил рукопись книги, принадлежащую перу Беккариа (это было сделано очень поверхностно Кантү), но и первый получил в свое распоряжение из архива Пьетро Верри рукопись книги, переписанную Пьетро Верри, с рядом писем и заметок, относящихся к истории составления книги.

Ландри тщательно изучил обе рукописи, сопоставил их между собой и с печатным текстом, привлек все иные материалы, относящиеся к этому вопросу, и пришел к нижеследующему заключению.

Мысль написать работу об уголовном законодательстве подана Пьетро Верри. Книга начата в марте 1763 г. и кончена к январю 1764 г. Часть книги (первое издание) и часть дополнений к третьему изданию написаны Беккариа в Чессате, в загородной вилле отца, а не в доме Верри. Какая часть, сказать нельзя, потому что Беккариа жил подолгу за городом, но Ландри допускает, что, когда Беккариа не получал импульсов со стороны своих друзей, он предавался своей природной лени. Верри переписал рукопись, когда все было написано. Эта переписка заняла январь и февраль 1764 г., причем Беккариа за это время сделал несколько дополнений. Рукопись Верри не носит никаких следов пребывания в типографии. Из этих соображений, а также из учета времени, с которого началось печатание книги, Ландри считал, что с рукописи Верри в течение марта и апреля 1764 г. была снята копия, отправленная в типографию. Из сличения печатного текста с обеими рукописями видно, что Верри не использовал широких полномочий, предоставляемых ему Беккариа. По-

рядок расположения материала и оглавления в рукописи Беккариа соответствует тексту книги; по сравнению с текстом в рукописи Беккариа не хватает нескольких мест: в главе «О духе семейственном» (§ XXVI) — 10 печатных строк пятого издания книги; в главе «О смертной казни» (§ XXVIII) — 21 строчка, в главе «Процесс и давность» (§ XXX) — 51 строчка, и, наконец, в рукописи отсутствует коротенький § XLIV «Награды» — 14 строчек, всего около двух страниц на 205 страницах пятого издания книги, с которого нами сделан перевод. Один абзац из § II «Право наказания», имеющийся в рукописи Беккариа, отсутствует в тексте книги¹.

Рукопись Верри была просмотрена Беккариа, потому что большая часть заглавий написана его рукой и внесены кое-где немногочисленные и очень небольшие изменения. Были ли вообще внесены изменения со стороны Верри в «дополнения» к третьему изданию, сказать ничего нельзя, потому что их нет ни в рукописи Беккариа, ни в рукописи Верри. Дополнения к четвертому изданию², каковым в научной библиографии считается французское издание книги в переводе Морелле, вошедшие одновременно в пятое итальянское издание, были пересланы последнему через Даламбера самим Беккариа, и оригинал их, писанный рукой Беккариа, сохранился в архиве Беккариа. Отсутствует вообще в рукописи текст обращения «К тому, кто читает», предпосланного Беккариа к пятому изданию.

Ландри приходит к окончательному выводу, что если со стороны друзей Беккариа, в особенности со стороны Пьетро Верри, и могло быть проявлено большое участие в выработке мыслей, общих, впрочем, для всей «философской» Европы, то оно было минимально в смысле редактирования и тех своеобразных достоинств, которым книга обязана своим успехом.

Этот вывод подкрепляется и следующими документами.

В разгар вражды с Беккариа Пьетро Верри писал своему брату (10 января 1767 г.), что Беккариа неспособный человек, всецело обязанный ему, что без него он ничего бы не сделал. «Европа, — восклицает он, — объявила его более великим, чем я! Моя совесть утверждает обратное. Он составил себе маленькое счастье книгой и забывает, что люди капризны и что, может быть, через несколько лет перестанут оказывать ему почет, который он сейчас получает. Он забывает, что если бы кто из нас захотел, то мог бы нанести сокрушительный удар по стволу этого дерева. Говорю так, зная по собственному опыту, что в какой-нибудь месяц я смогу найти многое у криминалистов и могу набрать у Монтескье, Гельвеция, Вольтера и у Гревюса столько сходных мест, что он покажется плагиатором». «Но для меня всегда будет достаточно сознания, что я могу это сделать, — спешит добавить Верри, — этого я никогда не сделаю». (Цит. по Буви и Спирито.)

Ландри обнаружил, наконец, в архиве Пьетро Верри его критические заметки о книге Беккариа, относящиеся к 1767—1768 гг. Самого текста

¹ В нашем издании места, включенные в звездочки.

² Все эти места приводятся нами в приложении. Эти дополнения помещены в нашем издании между знаками **.

этих заметок Ландри не приводит, но из них, по его словам, следует, что «книга “О преступлениях и наказаниях” принесла автору славу незаслуженную и эфемерную, славу, которой он обязан чувствительности читателей, что автор наихудший диалектик, определения и рассуждения которого одинаково порочны, и что можно привести множество примеров из его софизмов». Совершенно справедливо отмечает Ландри, что наличие подобного рода критики ослабляет предположение, что основные мысли книги подсказаны Верри.

Через несколько лет вражда стала затихать. Уже в 1770 г. Алессандро Верри писал брату, что многие хотели бы видеть портрет Беккариа. «И действительно, — замечает Алессандро, — его известность не та, которая создается уловками тщеславия или трубным шумом, как это бывает у шарлатанов. Она следует из внутренних достоинств его труда...» (Кантú). Сам Пьетро Верри в своей «Истории Милана» (1783) называл Беккариа «бесмертным» и писал, что «принципы высокой философии, продиктованные книге “О преступлениях и наказаниях”, горячее и свободное красноречие, с которым они выражены, обеспечивают нашему знаменитому соотечественнику, другу и товарищу моих занятий длительную славу». С такой же похвалой отозвался Пьетро Верри в трех местах своих «Мемуаров о Фризи» (1787) и в начале своей «Истории французского нашествия» (1796)¹.

Уго Спирито были известны труды и Буви, и Ландри. Он указывает даже, что замечания последнего «весьма важны», потому что основаны на тщательном и прилежном изучении архива Беккариа. Следовало бы добавить — и архива Верри. И тем не менее Спирито счел возможным совершенно замолчать все те свидетельства, которые нами приведены и которые не оставляют сомнений в том, что создатель книги был Беккариа.

Устанавливая духовное авторство Беккариа в деле создания книги, мы не хотим умалять тем самым огромную роль, которую сыграл при этом Пьетро Верри. Беккариа сам писал Морелле о Верри: «Он ободрял меня к сочинению, и ему я обязан тем, что не бросил в огонь рукопись, которую он из любви ко мне переписал собственноручно». В архиве Верри Ландри нашел экземпляр первого издания книги Беккариа с его собственноручной надписью на французском языке: «Тому, кто был виновником всех наслаждений, которые я испытывал при составлении этой книги, моему дорогому другу-философу графу Пьетро Верри».

Без моральной поддержки Пьетро Верри и без его технической помощи при первых трех изданиях — переписка рукописи, сношение с типографией — книга Беккариа вряд ли появилась бы на свет. Более того, исключительной заслугой обоих братьев Верри было составление «Ответа» на памфлет монаха Факинеи. Этот «Ответ» спас в пределах австрийских владений в Италии как Беккариа, так и его книгу.

ГЛАВА VI

Памфлет монаха Факинеи. «Ответ» братьев Верри

По цензурным соображениям книга Беккариа была отпечатана не в Милане, а в Ливорно, анонимно и без указания места издания. Из записей, сделанных Пьетро Верри на переписанной им рукописи, видно, что первый экземпляр книги был получен в Милане 16 июля 1764 г. Далее отмечено: «К 20 августа разошлось 520 экземпляров. В Венеции государственные инквизиторы разыскивают их и конфискуют». Вышедшая небольшим тиражом книга быстро потребовала второго издания. Оно было отпечатано в той же типографии в Ливорно, также анонимно, с указанием Монако в качестве места издания. И это издание быстро разошлось, так что к концу 1764 г. Беккариа подготовил уже третье издание, с дополнениями.

Монах Факинеи, которому венецианские власти поручили выступить против книги Беккариа, принялся за работу так рьяно, что в конце 1764 г. или в самом начале 1765 г. вышли из печати его «Заметки и замечания на книгу, озаглавленную “О преступлениях и наказаниях”». Вышли они анонимно и без указания места печати¹. По объему заметки больше, чем книга Беккариа (около восьми листов). В записях Верри отмечено: «15 января мы получили Факинеи».

Книга Факинеи была наполнена самыми ужасными обвинениями, какие только были мыслимы в XVIII в. «Много читал я книг по истории и церковным вопросам, написанных древними и современными протестантами всех наций и всех сект. Написаны они скорее с целью изрыгнуть ярость против Рима и против трибуналов инквизиции, чем для того, чтобы поведать о событиях или осветить вопросы...» «Но воистину, — восклицает Факинеи, — среди них не найдется ни одной, которая была бы написана более отвратительными и более черными красками и с более святотатственными приемами, чем книга нашего автора». «Книга эта, — пишет он в другом месте, — несмотря на свои малые размеры, полна тем не менее длинных и бесцельных выпадов против законодателей и против князей, как церковных, так и светских, и в особенности против священного трибунала инквизиции, и содержит в себе все заблуждения, самые ужасные, и все поношения верховной власти и христианской религии, самые возмутительные, которые когда-либо были изрыгнуты всеми наи-

¹ Буви. С. 90.

¹ Note ed osservazioni sul libro intitolato dei delitti e delle pene, 1765. P. 191. Экземпляр этой книги имеется в Ленинской библиотеке (Москва).

более нечестивыми еретиками и всеми неверующими, как древними, так и новыми». Автор книги один из тех писателей, которые, «прибегая к наиболее низким и наиболее дерзким приемам, обращаются с церковнослужителями, как с плутами, с монархами, как с тиранами, со святыми, как с фанатиками, с религией, как с обманом, и которые возводят, наконец, хулу на самого их творца». Венецианские власти знали, кому давали поручение. Факинеи был начитан не только в церковной литературе. Он был знаком и с просветительной литературой XVII и XVIII вв., с «публицистами — учителями нашего автора». Подводя итоги, Факинеи делает обобщение: «Почти все, что наш автор выдвигает в своей книге, покоится не на чем ином, как на двух ложных и нелепых началах — что все люди рождаются свободными и равны по своей природе и что законы не что иное, и не должны быть не чем иным, как свободными договорами людей, соединившихся в общество, чтобы лучше обеспечить свою собственную жизнь».

С ядовитой иронией он говорит об авторе как о человеке, возмнившем себя «Итальянским Руссо», а в самом начале прямо называет книгу Беккариа — «истинной дочерью Общественного договора».

Факинеи непосредственно не призывал, конечно, к аресту и суду над автором книги. «Смиренно» заявлял он, что руководствуется, осуждая последнюю, «исключительно истинной любовью к прекрасной истине». Но в условиях Италии того времени обвинения, выдвинутые «кротким» монахом, являлись призывом не только к духовной, но и к светской власти. Анонимность несколько не спасала. Пронырливый монах успел установить, что книга отпечатана «контрабандно» в Ливорно.

Чем все это угрожало, Беккариа и его друзья прекрасно представляли себе. Уже работая над книгой, Беккариа считался с возможностью преследования со стороны католической церкви. «Должен сказать вам, — говорит он в своем письме к Морелле, — что в то время, как я писал, я имел перед глазами пример Макиавелли, Галилея и Джанноне. Я слышал звон цепей, потрясаемых суеверием, и крики фанатизма, заглушающие стенания истины. Вид этого ужасающего зрелища заставлял меня иной раз прикрывать свет облаками. Я хотел защищать человечество, но не делаться его мучеником. Мысль, что мне нужно быть темным, делала меня иногда таковым без необходимости».

После появления памфлета Факинеи нельзя было терять ни одной минуты. И действительно, в записях Пьетро Верри на рукописи «Ответа», написанной рукой Пьетро и обнаруженной Ландри, сказано: «Книга (Факинеи) пришла в полдень 15 января, а вечером 21 января был готов уже этот “Ответ”». Утром 22 была отправлена в Лугано (где печаталось третье издание книги Беккариа) первая часть, 23 утром остальное. К 1 февраля вышло из печати». Рукой секретаря Верри приписано, что данная рукопись отпечатана в одном томике в качестве приложения к книге «О преступлениях и наказаниях» (Ландри).

В литературе о Беккариа, в особенности русской, прочно утвердилась легенда, что автором «Ответа на заметки и замечания» был сам Беккариа.

И как же могли думать иначе, если в своем обращении «К тому, кто читает», появившемуся впервые в пятом издании книги, Беккариа прямо заявлял: «Я публично засвидетельствовал свою религиозность и покорность моему суверену ответом на “Заметки и замечания”».

И все же «Ответ» был составлен не им, а братьями Верри.

На их авторство указывал еще Вилла в 1820 г., но не ссылаясь ни на какие доказательства. Поэтому Канту отвергнул это свидетельство. Но когда была опубликована в 1879—1881 гг. в четырех томах переписка братьев Верри, то и во втором, французском, издании своего труда (1885) Канту попросту отмахнулся от упоминаний братьев Верри, что «Ответ» составлен ими. Для Амати авторство Беккариа не возбуждало никаких сомнений, и он поражался способностью «ленивого» Беккариа в пять дней написать брошюру в три с половиной печатных листа.

В двух письмах к Фризи, 21 января и 16 февраля 1767 г., Пьетро Верри прямо говорит, что в «Ответе» нет ни одной буквы Беккариа, что работа полностью написана им, а материал¹ помогал подбирать Алессандро (Спирито). Буви устанавливал авторство братьев Верри, помимо указанных писем, сопоставлением прежде всего стиля книги Беккариа со стилем «Ответа». Стиль этих двух вещей отражает манеру, свойственную каждому из этих писателей. Затем Беккариа, по мнению Буви, вообще не был способен к такой работе, как составление «Ответа», которая, по меткому выражению Буви, скорее проявление ловкости (*tour de force*), чем творческое произведение.

Но все сомнения окончательно рассеяны Ландри, обнаружившим рукопись «Ответа», написанную рукой Верри (ее-то и видел в свое время Вилла), и его же заметки для составления «Ответа». Рукой Беккариа только на отдельном листе занесено несколько цитат из памфлета Факинеи. Характерно и то, что, затребовав рукопись своей книги от Верри, Беккариа не сделал того же в отношении «Ответа».

Принадлежность авторства этой вещи братьям Верри не дает поэтому права пользоваться «Ответом» как своего рода комментарием к книге «О преступлениях и наказаниях». Но на общем характере его остановиться следует. Содержание «Ответа» в значительной мере предопределялось формой, в которой Беккариа излагал в книге свои мысли². То, что Беккариа «прикрывал свет облаками», помогло братьям Верри в опровержение обвинений дать ряду мест более невинное толкование. Легче всего было опровергнуть обвинения в мятежных мыслях против светской власти.

Хотя книга Беккариа и пестрит выпадами против «тиранов», «деспотов», «тирании» и «деспотизма», но утверждению Факинеи, что «автор книги считает всех князей, всех суверенов нынешнего века жестокими тиранами», можно было противопоставить слова книги: «Счастливым было бы человечество, если бы впервые для него законы издавались теперь, когда мы видим восседающими на престолах Европы благодетельных

¹ «Ответ» пестрит ссылками и цитатами из римских юристов, канонистов, историков церкви.

² Форме изложения посвящена специальная глава — XII.

монархов, покровительствующих мирным добродетелям, наукам и искусствам...»

Труднее было опровергнуть обвинения в нападках на католическую церковь, на духовенство, в защите свободы ересей и т.п. И недаром в «Ответе» две трети мест отведено возражениям против обвинений в неверии. Но, несмотря на остроумие и ловкость пера Пьетра Верри, этого было бы недостаточно. Пришлось недвусмысленно заявить, что автор книги «О преступлениях и наказаниях» — правоверный католик. Факинеи писал, что автор обвиняет католическую церковь в жестокости и нападает на «ученых католической церкви». В «Ответе» пришлось прямо сказать: «Святая католическая церковь, в лоне которой я родился по милости Божьей, догматы которой я почитаю как божественные и непогрешимость которых исповедую, в лоне которой я уповаю и жить и умереть, никогда не обвинялась мною ни в жестокости, ни в каком-нибудь ином пороке».

В своей книге Беккариа, как мы видели, напал со всей резкостью на юриспруденцию своего времени, на юристов Средневековья и абсолютизма. Но бой был дан по линии «римского права». О каноническом праве, из вполне понятной предосторожности, даже слова сказано не было. А именно канонисты первые разработали учение об оскорблении божественного величества такими преступлениями, как богохульство, ересь, колдовство. Именно канонисты выработали правило, что «церковь отвращается от крови», что поэтому церковные суды не должны назначать смертную казнь, а должны передавать виновного для наказания светскому суду. На практике приглашение духовного суда наказать как можно мягче, без пролития крови, обычно прямо понималось как приглашение сжечь виновного живым на костре.

И все же в «Ответе» по вопросу о канонистах нельзя было отыгаться на «фигуре умолчания». Пришлось сказать: «Ученые католической церкви являются моими учителями (*maestri*), и я питаю глубочайшее уважение к их знаниям». Но мы-то знаем, что «учителями» и братьев Верри, и Беккариа были французские и английские философы XVII и XVIII вв., а не блаженный Августин, Фома Аквинский и бесчисленные Исидоры и Амвросии.

Нельзя не согласиться с Амати, что, «если Беккариа, презрев молчание, отвечал бы на обвинения Факинеи открытым исповеданием своих принципов, то его, по всей вероятности, ожидала бы участь Макиавелли, Галилея и Джанноне, которой он отнюдь не завидовал».

Можно, конечно, поставить Беккариа в упрек отсутствие мужества, как это и делает Спирито, восклицая: «Какое различие по сравнению с каким-нибудь Джордано Бруно или Кампанеллой!» Но справедливость требует отметить, что Беккариа был так подавлен предъявленными ему обвинениями, участь Джанноне, умершего в тюрьме за каких-нибудь шестнадцать лет до его книги, казалась ему настолько неминуемой, что он вообще не был в состоянии написать какой-нибудь ответ. Одинокий

лист с несколькими цитатами из Факинеи, сохранившийся в архиве Верри, красноречивее всего говорит о душевном состоянии Беккариа.

Опубликование «Ответа» в третьем издании книги «О преступлениях и наказаниях» спасло Беккариа от участи Джанноне. Наместник Фирмиани, поклонник энциклопедистов, сам лично разделявший взгляды Беккариа на пытку, мог опереться в своей защите Беккариа на этот «Ответ».

В своем письме к Морелле Беккариа прямо указывает, что спокойствием он обязан графу Фирмиани. В обращении «К тому, кто читает» Беккариа высказывает свою признательность и Фирмиани, и венскому правительству, говоря, что «откровенное изыскание истины и независимость от принятых мнений, с которой написан этот труд, возможны лишь при снисходительном и просвещенном правительстве, под властью которого живет автор». Наконец, свое сочинение «О стиле» (1770) Беккариа посвятил тому же Фирмиани.

Когда гроза прошла, Беккариа нашел в себе силы самому ответить Факинеи. Таким ответом и является обращение «К тому, кто читает», помещенное в пятом издании книги «О преступлениях и наказаниях» (март 1766 г.). Со ссылкой на «Ответ», составленный братьями Верри, ему и здесь пришлось заявить о своей религиозности («Я публично засвидетельствовал свою религиозность...»). Пришлось упомянуть и про «покорность своему суверену». Но в остальном личный ответ Беккариа написан с достоинством, а начало его, где он в нескольких строках характеризует действующую уголовную систему, должно быть отнесено к одной из самых блестящих по языку страниц книги.

В литературе о Беккариа недостаточно оценено значение обращения «К тому, кто читает», как «Ответа», весьма искусного по своей форме. Не учитывается, что в нем не меньше, если не больше, Беккариа «прикрывал свет облаками». Нельзя поэтому всерьез принимать указание Беккариа о том, что наряду со справедливостью человеческой «или, что то же, политической», и «естественной» существует еще и «справедливость божественная», или слова его, что «идея добродетели религиозной, возвешенной и охраняемой самим Богом, всегда остается единой и неизменной». Все это говорилось для того, чтобы иметь право сказать, что автор занимается только земными, не «богословскими» вопросами. Отсюда же и другой вывод: «богословие» не должно вмешиваться в «земные» вопросы. Эта же мысль прекрасно была выражена Беккариа в главе «О присяге» (§ XVIII): «Дела небесные управляются по совершенно иным законам, чем дела человеческие».

Опубликованный в третьем издании книги «Ответ», составленный братьями Верри, спас Беккариа от уголовного преследования, но не успокоил «смертельно задетое духовенство» (Амати). Книга Беккариа была занесена римским престолом в «Индекс (список) запрещенных книг». Об этом счел необходимым напомнить 21 марта 1871 г. орган папы «Осерваторе католико» в связи с открытием 19 марта того же года в Милане памятника Беккариа, средства на сооружение которого были собраны по

общественной подписке. Тогда же этот орган писал: «Милан воздвиг памятник человеку, жалкому в религии, ничтожному в литературе, поверхностному в юриспруденции, нечестивому в учениях. Надеемся, что более мудрое и менее раболопное потомство разрушит его» (Амати).

Надо удивляться, что в русской литературе Беликов, имевший в своем распоряжении книгу Амати, утверждал, что благодаря европейскому успеху книги Беккариа «даже у святейшего папы не поднялась рука, чтобы сжечь книгу и похоронить ее в “указателе запрещенных книг”». Видимо, Беликов поверил на слово Кантú который в стремлении смягчить краски голословно утверждал, что Беккариа не испытал ни малейших неприятностей не только от инквизиции, но даже от святой конгрегации, ведающей Индексом.

В новейшее время молодой итальянский ученый Армандо де Марки, выпустивший в 1929 г. монографию «Чезаре Беккариа и уголовный процесс», произвел специальное расследование по этому вопросу. Он установил, что «осуждение» книги папой существует и по сие время. Ему не удалось только получить сведения о «мотивах» осуждения и внесения книги в Индекс. Такого рода сведения составляют тайну, не подлежащую оглашению, и, как было Марки официально заверено, эта «тайна» никогда и ни для кого не была нарушена. Сам Марки высказывает предположение, что, возможно, единственной причиной является зачисление к энциклопедистам¹. Молодой итальянский автор, видимо, не читал «Замечаний» монаха Факинеи. В них содержится более чем достаточно мотивов для «осуждения» книги Беккариа римско-католической церковью. И когда Амати говорил, что «клерикальный гнев против Беккариа» ни на одну йоту не ослабел с момента появления «Замечаний» Факинеи, то слова эти могут быть по всей справедливости отнесены и к настоящим дням.

Одинаково враждебное отношение встретила книга Беккариа и в тех странах, где в его эпоху господствовала «святая инквизиция». Появившийся перевод ее на испанский язык был запрещен испанской инквизицией, книга его была воспрещена и в Португалии².

В заключение необходимо остановиться на вопросе, поднятом еще Буви: почему братья Верри не выступили публично с заявлением, что они, а не Беккариа являются авторами «Ответа».

Совершенно правильно отмечает Буви, что до возникновения вражды (после поездки Беккариа в Париж в 1766 г.) братья Верри не испытывали никакого чувства соперничества. Успех Беккариа был их общим успехом. Когда же вспыхнула вражда, то братья Верри в переписке с друзьями и в разговорах достаточно громко заявляли о своем авторстве. Когда же острота отношений миновала, то, по выражению Буви, братья Верри «набросили покрывало забвения на прошлое». Буви подчеркивает далее, что и Беккариа начиная с 1767 г. хранил такое же молчание, как и братья

Верри. «Никогда уже более, вплоть до самой смерти, Беккариа не заявлял, что он автор “Ответа”, и не делал даже какого-нибудь намека на это».

В отношении братьев Верри нам представляется возможным высказать еще следующие соображения. В первые месяцы и годы, когда «Ответ» сыграл такую спасительную роль, это произведение могло казаться им чуть ли не одинаковой ценности с книгой Беккариа. Переоценка «Ответа» чувствуется во всяком случае в письмах Алессандро Верри из Парижа, куда он поехал вместе с Беккариа. Когда вражда затихла и когда братья Верри сами убедились в историческом значении работы Беккариа, когда они увидели, что книга имеет успех независимо от их «Ответа», они не могли не почувствовать, что это их произведение не прибавляет ничего к лаврам Беккариа. Скорее, наоборот.

Характерно, что Морелле не считал возможным дать одновременно с книгой и перевод «Ответа»¹. В письме к Беккариа он объяснял это рядом соображений: не стоит привлекать во Франции внимание к тому, что в Италии «суеверие» подняло уже голову, что лучше приберечь его для второго издания и т.п. Но нам думается, Морелле не привел главного довода, что книга Беккариа потеряла бы от соседства с «Ответом».

Положение Беккариа с «Ответом» было психологически чрезвычайно тяжелым. Признать публично авторство братьев Верри — значило бы подвергнуть себя преследованию со стороны Рима. Во всяком случае известные неприятности, несмотря на мировую славу, были бы. Беккариа же в это время ждал от австрийского правительства назначения на должность, которая дала бы ему материальную независимость.

Но Беккариа ничего не сообщил об авторстве Верри и французским энциклопедистам. Алессандро писал брату, что только один раз Беккариа пришлось признаться, что его друзья помогли ему составить «Ответ». Возможно, что «полного признания» Беккариа не сделал из боязни, что его новые парижские друзья припишут братьям Верри слишком большую роль и в составлении самой книги.

Как бы то ни было, после возвращения из Парижа Беккариа своей книги больше не переиздавал. Это, конечно, не случайно. Возможно, что наряду с другими причинами, удержавшими его, о которых скажем ниже, сыграло свою роль и нежелание касаться вопроса об авторстве «Ответа».

¹ De Marchi A. Cesare Beccaria e il processo penale, 1929.

² Böhmer. Handbuch der Litteratur des Kriminalrechts, 1816. S. 199.

¹ Впервые, насколько мы могли установить, на французский язык «Ответ» переведен в 1773 г. Лизи вместе с книгой Беккариа, а в немецких изданиях частично «Ответ» приведен в переводе под редакцией Гоммеля в 1778 г.

ГЛАВА VII

Книга Беккариа становится известной Европе. Перевод книги в редакции Морелле

В том же 1765 г., в котором Беккариа пришлось пережить тяжелые дни в связи с появлением памфлета Факинеи, к нему начинает приходить слава. В главнейших газетах Европы, в том числе и в Луганской газете (южная часть Швейцарии), 1 октября появилось сообщение Патриотического общества в Берне о присуждении неизвестному автору книги «О преступлениях и наказаниях» золотой медали и просьба к автору дать о себе знать. Как теперь точно установлено, письмом от 20 ноября Беккариа благодарил Общество за лестную оценку его труда¹. В 1765 г. появляется в Праге и первый перевод книги Беккариа на иностранный — немецкий — язык. Но сомнительно, знал ли тогда Беккариа об этом событии.

Во всяком случае приведенные нами факты свидетельствуют, что книга Беккариа стала привлекать к себе внимание и помимо французских энциклопедистов. Но, конечно, «европейскую» славу Беккариа создал центр умственной жизни XVIII в. — Париж.

В июне 1765 г. один из членов миланского кружка Паоло Фризи переслал Даламберу (1717—1783), известному создателю французской энциклопедии, другу Дидро, крупнейшему математику того времени, с которым Фризи поддерживал отношения, книгу Беккариа — третье издание — совместно с небольшой статьей Пьетро Верри «Размышления о счастье».

В письме от 21 июня Даламбер благодарил Фризи за присылку книг и хвалил оба произведения, в особенности Беккариа. Но уже через какие-нибудь две недели (9 июля) Даламбер посылает вдогонку второе письмо. «Когда я имел честь недавно писать вам, чтобы поблагодарить вас за два сочинения, пересланные мне, я только бегло просмотрел книгу “О преступлениях и наказаниях”. Я все же с ней ознакомился настолько, чтобы решить, что это отличная книга». «Потом, — продолжает Даламбер, — я прочел ее с отдохнувшей головой, и мне стыдно, что я говорил о ней с такой скупой похвалой². Нельзя быть ни более очарованным, ни более восхищенным этим произведением, чем это было со мной. Я давал его читать многим хорошим философам, и все они такого же мнения. Этой

книги, несмотря на ее небольшой объем, достаточно, чтобы обеспечить автору бессмертное имя. Какая философия, какая истина, какая логика, какая определенность и вместе с тем сколько чувства и человеколюбия в его произведении!»

В заключение Даламбер просил поздравить автора, передать ему большую благодарность и сообщал, что один его друг «философ и славный писатель настолько захвачен этим произведением, что стал его переводить на французский язык» (Амати). Копию этого письма Фризи, проживавший тогда в Модене, переслал Беккариа 9 августа и «с радостным чувством братской гордости», как замечает Ландри, писал ему от себя: «Не хочу, чтобы вы более страдали. Я снял копию письма. Примите ее и благословите отца милосердия...» Беккариа поспешил, конечно, отблагодарить Даламбера за его отзыв (письмом от 28 августа) и приложил к письму «дополнения» к своей книге для передачи переводчику¹. Даламбер в это время перенес тяжелую болезнь, но как только оправился, написал 28 сентября Беккариа чрезвычайно теплое письмо, впервые опубликованное Ландри. «Я не могу вам высказать, — писал он, — насколько я доволен и очарован вашей книгой, и я вижу с удовлетворением, что мое восхищение разделяют все, кто мыслит. Как я ни чувствителен к тому, что вы говорите по этому вопросу, я не могу это принять буквально. Такой человек, как вы, не нуждается в наставнике и тем более в таком, как я. Вы, как Курциус Руфус у Тацита, *ex se natus* (сами себя родили), и ваши дети не нуждаются ни в каких других предках, кроме вас...»

Характерно для Беккариа то, что он решительно воспротивился, чтобы письмо Даламбера было приложено к очередному (пятому) изданию книги, как это предлагал Пьетро Верри (Ландри).

В литературе о Беккариа общепринято положение, что мысль о переводе его книги на французский язык подана Мальзербом², и приводится соответствующее место из «Мемуаров» Морелле, живо рисующее сцену из жизни французских энциклопедистов.

«В 1766 г.³, — вспоминает Морелле, — я перевел и опубликовал по приглашению Мальзерба сочинение Беккариа “О преступлениях и наказаниях”. Мальзерб давал обед нам, г-ну Тюрго, Даламберу и некоторым другим литераторам. Он только что получил книгу из Италии. Он указывал на длину и неясность начала и пытался перевести первую фразу. “Попробуйте перевести ее”, — сказал он мне. Я пошел в его библиотеку и вернулся с этой фразой в том виде, как она сейчас. Ею остались довольны и меня стали убеждать продолжать. Я взял книгу и опубликовал ее на французском языке через шесть недель» (Мемуары, т. II, с. 157).

Эта версия, по-видимому, подтверждалась и письмом Морелле к Беккариа (3 января 1766 г.), где он сообщал, что Мальзерб просил его за-

¹ В 1900 г. швейцарский профессор Мюлинен опубликовал монографию о деятельности этого общества. Переписка Беккариа с этим обществом впервые использована Ландри.

² В первом письме о произведении Беккариа он говорил: «Оно написано, по-видимому, хорошим философом и другом человечества. Он отвечает довольно хорошо на злые возражения своего критика».

¹ В тексте нашего перевода — помещенные между знаками *. Об этих дополнениях см. в приложении.

² Мальзерб был в то время министром.

³ В действительности — в 1765 г. Перевод вышел в самом конце этого года, но с указанием 1766 г.

няться переводом. Но, как мы уже указывали, это письмо было напечатано Редерером с черновика, хранившегося у Морелле. Подлинное же письмо опубликовано впервые Ландри. В нем сказано буквально следующее: «Г-н Даламбер, с которым я связан тесной дружбой, дал мне в июне вашу книгу для прочтения. Я прочел ее с восторгом. Он убедил меня прервать на некоторое время ту значительную работу, которой я посвятил несколько лет, и приняться за перевод книги “О преступлениях” на наш язык...»

Как мы уже указывали, первое письмо Морелле было опубликовано Редерером не полностью. Письмо было значительно сокращено, сделаны кое-какие перестановки. Оно было, таким образом, отредактировано Морелле. За тридцать с лишком лет память легко могла изменить Морелле, и он приписал Мальзербу то, что сделал Даламбер. Для нас же представляется важным установить именно то, что Даламбер, такой крупный мыслитель и ученый, первый оценил все значение книги и принял меры к тому, чтобы она стала известна всей Европе. Версия подлинника письма вполне согласуется и с перепиской Фризи — Даламбера и Беккариа. Эта версия не исключает правдоподобности такого события, как обед у Мальзербга, во время которого, как обычно, шли разговоры о литературе, о новых книгах и т.п.

Что книга Беккариа стала известна в Париже летом 1765 г., отмечает и Гримм в своей «Корреспонденции». В письме от 1 августа он пишет, что небольшая книжечка, озаглавленная «О преступлениях и наказаниях», наделала много шума в Италии. «Она принадлежит Беккариа, миланскому дворянину, которого одни принимают за аббата, другие за юриста». «Я же, — говорит Гримм, — считаю его одним из лучших умов, которые в настоящее время имеются в Европе».

В литературе о Беккариа, в особенности в русской, совершенно недостаточно использованы «корреспонденции» Гримма. Между тем этот умный «наблюдатель» французской дореволюционной жизни посвятил в своих «корреспонденциях» не одну страницу книге Беккариа. Она произвела на него чрезвычайно сильное впечатление. «Идеи Беккариа, — писал он, — следует принять для поучения и счастья человеческого рода. Его книга заслуживает перевода на все языки, его принципы должны быть предметом размышлений и для суверенов, и для философов» (т. VI, с. 329—337).

В конце 1765 г. появился перевод Морелле. Но Морелле, к сожалению, не ограничился переводом текста. Он переставил порядок параграфов, более того, куски из одних параграфов он переставил в другие — словом, дал совершенно новую редакцию книги Беккариа. Гримм был глубоко возмущен такой «неслыханной дерзостью». В своей «Корреспонденции» от 1 декабря 1765 г. он писал, что только французам могла прийти в голову мысль, что «он лучше может привести в порядок идеи справедливого, глубокого и светлого ума такого человека, как Беккариа». Он указывает, что если бы такая смелость была допущена по отношению к «Духу законов» Монтескье, то это вызвало бы, по справедливости, всеобщее возмущение (т. VI). В немецком издании книги Беккариа 1767 г. пере-

водчик в предисловии писал, что когда в конце своей работы он увидел французский перевод (Морелле), то был прямо ошеломлен той «свободой», с которой было разрушено все здание автора¹. В Англии поступок Морелле также не встретил сочувствия. На английский язык Беккариа был переведен в редакции автора в 1767 г. В предисловии указывалось, что французский переводчик присвоил не принадлежащее ему право. Может быть, он и придал книге более систематический характер, но «автор имеет несомненное право на порядок расположения своих идей не менее, чем на свои идеи»².

В предисловии к своему переводу Морелле объяснял, что, внося изменения в порядок изложения, он восстановил тем самым «естественнейший порядок», который иногда нарушался «жаром чувства» автора.

Видимо, совесть Морелле все-таки не была спокойна. Недаром в первом письме, при котором он посылал Беккариа свое переводное издание, он посвятил несколько страниц доказательствам правильности своего поступка. Тут и заверения, что перемена в порядке изложения не означает какой-либо критики последнего. Тут и ссылки на французского среднего читателя, для которого порядок, принятый переводчиком, делает якобы более доступным понимание книги. Тут и призыв к Беккариа стать выше авторского самолюбия. Не довольствуясь этим, Морелле ссылается на «большие авторитеты», как Даламбер и Юм, которые одобрили образ его действия. Очевидно, по просьбе Морелле Даламбер даже сам сделал об этом приписку к письму Морелле. Но не все друзья Морелле одобрили его столь «свободное» отношение к тексту. Дидро был, во всяком случае, не на стороне Морелле (Ландри).

В литературе о Беккариа господствует мнение, что он вполне одобрил порядок, признанный Морелле. Наиболее известные переводы были сделаны в «редакции» Морелле: во Франции — Фостен Эли в 1856 г., в русской литературе — Зарудного (1879), Беликова (1889), последний немецкий перевод — Эссельборна (1905). Мнение это опирается прежде всего на письмо Беккариа от 26 января, впервые опубликованное в издании Редерера в 1797 г.

«С величайшей искренностью уверяю вас, — писал Беккариа, — что порядок, которому вы следовали, кажется мне самому более естественным и предпочтительным, чем мой, и мне неприятно, что новое итальянское издание почти уже закончено (Беккариа имеет в виду пятое издание, вышедшее в марте 1766 г.), ибо в нем я во всем, или почти во всем, сообразовался бы с вашим планом».

«Я не нахожу заслуживающим внимания сделанный вам упрек, что перемена порядка ослабила силу моего сочинения. Сила состоит в выборе выражений и в соединении мыслей, а неустройство (*confusion*) вредит и тому и другому».

¹ Перевод Jakob Schultheiss, издан в Ульме.

² Цит. по: An Essay on crimes and punishments. 4-е изд. Перевод анонимный. Лондон, 1785.

«Тем более, — продолжает Беккариа, — не должно было остановить вас опасение оскорбить самолюбие автора. Во-первых, потому что, как вы в вашем прекрасном предисловии говорите, книга, в которой защищается дело человечества, вышедши в свет, принадлежит свету и всем нациям. Что же касается лично меня, то я бы мало оказал успехов в философии сердца, которую предпочитаю философии ума, если бы не приобрел мужества взирать на истину и любить ее. Надеюсь, что пятое издание, которое незамедлительно выйдет, скоро разоидется, и я уверяю вас, что в шестом я во всем, или почти во всем, последую вашему порядку, который лучше выставляет на свет истины, которые я старался собрать. Говорю — почти во всем, потому что, прочитав один только раз, и то бегло, ваш перевод, не могу судить о частностях с таким же пониманием, как это я мог в отношении всего в целом».

Чтобы понять это письмо, надо представить себе чувство молодого автора, увидевшего свою книгу, переведенную с благословения энциклопедистов на «язык народа, просвещающего и поучающего Европу». Не мог автор не чувствовать благодарности к человеку, выполнившему эту задачу и ради этого отложившему в сторону свой многолетний труд. Далее, авторитет таких людей, как Даламбер и Юм! В такую минуту могло и самому автору показаться, что, может быть, Морелле прав. Он тут же, впрочем, три раза оговаривает, что «почти» во всем согласен, и оставляет себе путь для возможного отступления, ссылаясь на то, что он прочел перевод «только раз, и то бегло».

Сторонники взгляда, что Беккариа вполне одобрил порядок Морелле, ссылаются далее на то, что в пятом издании содержится «уведомление» о том, что вышел в свет французский перевод и что автор одобряет порядок, принятый в нем. Действительно, как это видно из описания у Ландри первых изданий книги Беккариа, такое уведомление — *avviso* — имеется в известной части экземпляров пятого издания.

Наконец, можно было бы привести еще одно свидетельство. В письме к одному из членов Бернского патриотического общества, писанном в конце января или в начале февраля 1766 г., Беккариа сообщает, что несколько дней тому назад он получил от Морелле его перевод. «Любовь к истине заставляет меня признать, — пишет Беккариа, — что новый порядок, который он дал моему сочинению, предпочтительней моего»¹.

И тем не менее все эти собственные заявления Беккариа не могут устоять перед тем фактом, что в действительности Беккариа не сдержал своего обещания. Шестое издание, вышедшее в 1766 г., «после сентября» (более точное время Ландри не мог установить), ничем не отличается от пятого, т.е. и в нем Беккариа сохранил свою редакцию. А это издание было последним, которое выпустил сам Беккариа. Совершенно поэтому не обосновано широко распространенное убеждение, что Беккариа в «последующих изданиях воспроизвел порядок Морелле» (Зарудный, Бе-

ликов, Эссельборн). Вообще, на итальянском языке в редакции Морелле книга Беккариа вышла, как указывает Ландри, впервые в 1780 г. в парижском издании Дидо (*Didot*), а к этому изданию Беккариа не имел никакого отношения.

В 1773 г. в Париже вышел новый перевод Беккариа. Переводчик, парижский адвокат Шайу де Лизи, намекая на Морелле, писал в предисловии, что «один литератор, во всех отношениях в высшей степени почтенный», разрешил себе свободно поступить с порядком изложения. «Эта свобода, — замечает Лизи, — понравилась не всем, и шестое (итальянское) издание, вышедшее после первого перевода на французский язык, показывает, что автор не одобрил “реформу”». Сам Лизи сделал свой перевод с шестого издания, вполне тождественного, как мы указывали, с пятым.

Появление этого перевода вызвало в парижских кругах предположение, что он состоялся по почину самого Беккариа. В связи с выходом перевода Лизи Гримм в своей «Корреспонденции» в феврале 1773 г., вспоминая перевод Морелле, писал, что Беккариа, «крайне возмущенный неслышанной свободой обращения с его трудом, из трусости благодарил того, кто его раскромсал на куски, и говорил, что в своем новом издании он последует этому изданию. Но на самом деле он не сдержал своего обещания и отыскал другого переводчика» (т. X). Это утверждение повторил, к сожалению, и Герц.

В настоящее время мы видим, что утверждение Гримма — одна из «легенд», создавшихся вокруг Беккариа. Ландри отыскал в его архиве подлинное письмо Лизи от 10 июня 1773 г. Посылая Беккариа свой перевод, Лизи пишет, что он следовал во всем порядку, установленному самим Беккариа, и высказывает уверенность, что Беккариа и после 1766 г. — времени последнего итальянского издания — посвящал себя интересам человечества и, может быть, у него есть дополнения к своему труду. В таком случае он просил бы переслать ему их для использования во втором издании перевода. Нет сведений, ответил ли вообще Беккариа своему новому переводчику. Одно несомненно — к этому переводу он не имел никакого отношения.

Большую, но, к сожалению, отрицательную роль в истории с «редакцией» Морелле сыграл и авторитет Кантү. Кантү не сомневался в том, что Беккариа одобрил порядок, принятый Морелле, которому он и последовал в своем издании книги Беккариа в 1862 г. Вместе с тем было известно, что Кантү был знаком с рукописью Беккариа и мог, таким образом, «выправить» свой текст. Вполне понятно, что и Зарудный, и Беликов вправе были считать издание Кантү «лучшим» итальянским изданием. Но они не могли знать, как это знаем мы в настоящее время, что Кантү совершенно не научно отнесся к рукописи Беккариа. Кантү не счел даже нужным поведать, что не сохранилось рукописного текста обращения «К тому, кто читает», добавлений к третьему изданию и некоторых других мест.

¹ Письмо полностью перепечатано Ландри из брошюры Мюлиненна. Кантү цитировал приведенное нами место, очевидно, по черновику, без указания адресата и даты, и ошибочно полагал, что оно написано в Париже.

При отсутствии рукописного текста первоисточником в данном случае может служить только пятое или тождественное с ним шестое издание 1766 г.

Главное отличие текста Кантú от текста пятого издания заключается в том, что в нем не хватает в шести параграфах нескольких предложений, в совокупности составляющих 24—25 строчек — одну страницу из 205 страниц пятого издания. Но характерно то, что именно этих предложений не хватает и в переводе Морелле. В отношении двух из них совершенно ясно, что при изменении порядка изложения он должен был выкинуть их¹. Следовательно, они были в рукописи, но Кантú руководствовался не ею, а переводом Морелле. Что касается остальных четырех мест, то независимо от того, были они или нет в рукописи, они имеются в тексте пятого издания, которое выпускал сам Беккариа. Никакого права выкидывать эти места Кантú не имел. Ведь если Беккариа, как он думал, «одобрил» порядок, принятый Морелле, то об изменении самого текста речи не было, тем более что в некоторых опущенных местах содержатся и политически, и теоретически весьма важные положения.

При таких условиях мнение о том, что издание Кантú является лучшим итальянским изданием текста книги Беккариа, должно быть признано легендой, не выдерживающей научной критики.

Тем более нет оснований, ссылаясь на невыполненное обещание Беккариа, издавать его книгу в редакции Морелле. Как это ни странно, но до сих пор сторонники этой редакции не потрудились даже подвергнуть изучению порядок изложения автора и сравнить его с «порядком» Морелле. Тогда они легко бы убедились, что Морелле воистину «раскромсал» подлинного Беккариа на куски, как это совершенно правильно заметил в свое время Гримм. При редакции Морелле нельзя учесть и историческую последовательность «дополнений».

В главе X мы постараемся изложить тот план, которым руководствовался Беккариа, когда он писал свою книгу, и вместе с тем показать, насколько порядок, принятый Морелле, искажил подлинного Беккариа.

ГЛАВА VIII

Парижская поездка

Для Беккариа 1766 г. был годом, когда он стал европейской известностью. В своем втором письме, посланном в сентябре этого года¹, Морелле сообщал Беккариа об общем успехе книги и о том, что вышло уже семь изданий его перевода, каждый по тысяче экземпляров.

В августе или сентябре 1766 г. вышел и «комментарий» Вольтера «к книге о преступлениях и наказаниях». На самом деле эта брошюра не является «комментарием» в обычном смысле. Она содержит высказывания Вольтера по ряду вопросов уголовного права и процесса, причем в двух-трех местах он хвалебно отзываясь об авторе. Но похвала Вольтера в то время значила много.

Голос Беккариа дошел и до «философов на троне». Наследный герцог Людвиг Вюртембергский прислал ему письмо (4 февраля), в котором говорил, что книга наполнила его любовью и восхищением к ее автору. «Я не знаю, — писал герцог, — суждено ли будет мне управлять людьми, я этого не желаю. Но я могу вас уверить, что я приложу все мои усилия, чтобы отменить эти варварские наказания, заставляющие содрогаться природу и с которыми вы боретесь так победоносно».

Кантú пишет, что он мог бы легко умножить свидетельства уважения и восхищения, которые вызывал автор книги, и привести факты его широкой известности на основании писем, полученных Беккариа. Поэты присылали ему стихи, прося их напечатать, другие просили у него рекомендаций к великим мира сего. Третьи обращались за денежной помощью, ссылаясь на прекрасное сердце автора. Находились даже такие, которые посылали ему материю, рассчитывая, что он продаст выгоднее, чем они, или запрашивали о качестве турецкого табака (Кантú).

Екатерина II, внимательно следившая за всеми не только политическими, но и литературными событиями, состоявшая в переписке с Вольтером, Дидро и Гриммом, уже в начале 1766 г. обратила внимание на Беккариа и через третьих лиц вошла в переговоры о переезде его в Петербург. Ею в данном случае руководило, конечно, не чувство симпатии к идеям Беккариа, как это можно предположить относительно герцога Вюртембергского, а желание укрепить свою репутацию «философа на троне».

В 1766 г. состоялась поездка Беккариа в Париж и личная встреча его с энциклопедистами.

¹ В § VII «Предшествующие размышления...»; в § XXVII «Ход моих мыслей отвлек меня, однако...».

¹ Письмо опубликовано в издании Редерера без точной даты — «... сентября».

Уже в первом письме Морелле приглашал Беккариа приехать в Париж не только от своего имени, но и от имени Даламбера, Дидро, Гельвеция, барона Гольбаха и других. Во втором, сентябрьском письме Морелле опять убеждал Беккариа посетить Париж. Но для Беккариа нелегко было покинуть Милан, свою семью и друзей, да еще на продолжительное время. Поездка предполагалась на полгода с посещением Лондона.

Каких друзей вынужден был покинуть Беккариа, видно из письма одного из них — Лонги, адресованного Беккариа в Париж: «Теперь тебя окружает уважение самых великих людей, но очень мало среди них таких, которые понимали бы, как я, твое значение, и нет никого, кто бы так тебя любил и уважал, как твой друг, который всегда будет вспоминать с самым нежным чувством минуту печального отъезда, когда, обнявшись, слившись устами, мы тщетно старались оторваться один от другого, когда немногими словами, прерываемыми вздохами, заверялась наша взаимная дружба».

И дальше: «Сколь сладостно насыщаться беседой с тем, кого любишь, получать его вопросы и самому задавать, вознаграждать себя радостью общения за долгую тоску, пережитую в разлуке» (Кантú).

Благодаря Ландри литература получила впервые в свое распоряжение переписку Беккариа с его другом Биффи. В одном из писем (1762) заключена целая поэма о дружбе и раскрываются черты мирозерцания автора книги «О преступлениях и наказаниях».

«О дружба, о узел, скрепленный истиной и добродетелью, — восклицает Беккариа, — я обожаю тебя, единственные узы мудреца! Сделай так, чтобы перед тобой смолк голос личного интереса и холодный расчет обыденных душ. Сделай так, чтобы, переполненная твоим энтузиазмом, вся душа моя была охвачена твоим жаром. Я предпочитаю тебя, вечная спутница свободы, свободы философической, скучной власти над душами низкими и рабскими. Без тебя я был бы затерянным насекомым в безграничном пространстве вечных сочетаний, унесенным в общий водоворот. Призрак ты или истина, приди, о добродетель, чтобы охватить все мое существо, чтобы сделать меня счастливым в краткие минуты моего бытия. О, если бы я мог оставить следы моей благодарности! Это единственный памятник, который я хотел бы оставить после того, как перестану чувствовать».

«Ты видишь, — кончает Беккариа, — что порыв поэзии занес меня, но я хочу, чтобы друзья мои знали одинаково и бред моих мечтаний, и мои рассуждения» (Ландри).

Когда читаешь эти письма, невольно приходят на память пушкинские строки о Ленском: «Он верил...

Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит».

Не нужно думать, что такое восприятие дружбы объяснялось молодостью наших миланских философов. Оно было характерным вообще для мироощущения людей XVIII в. Один из биографов Дидро говорит, что если его друг Гримм находился в отъезде несколько месяцев, то их свидание было похоже на сцену из какой-нибудь мелодрамы. «С каким пылом обняли мы друг друга, — писал Дидро, — мое сердце было переполнено. Ни я, ни он не были в состоянии сказать ни одного слова. Мы молча обнимались, и слезы текли из моих глаз»¹. Понятно, что Беккариа, который на первое письмо Морелле ответил, что «он полетел бы в Париж», в действительности откладывал свою поездку туда со дня на день. Словом,

Отъезда день давно просрочен;
Проходит и последний срок.

Если бы не второе, сентябрьское письмо Морелле и не настаивания миланских друзей, понимавших все значение поездки в Париж, в эту Мекку всех просвещенных людей XVIII в., вряд ли Беккариа покинул бы Милан. Характерно уже то, что он поехал не один. В качестве «ментора» его сопровождал Алессандро Верри. Пьетро не мог быть им, так как был связан своей новой должностью члена Экономического совета.

Выехали из Милана 2 октября. И в тот же день, с первой остановки Беккариа пишет своей жене Терезе, что он высчитывает дни своего возвращения. Из Лиона, 12 октября, он просит Терезу начать подготавливать почву для оправдания его скорого возвращения, что, самое большое, он может выдержать один-два месяца разлуки. В одновременном письме Пьетро Верри он пишет, что раскаивается в своей поездке в Париж и, если бы не убеждение, а «главное, не меры предосторожности, предпринятые Алессандро», то он сейчас же вернулся бы в Милан. «Жена моя, мои дети и мои друзья занимают все мое воображение». Беккариа умоляет Пьетро помочь ему и подготовить почву, если его «несчастный характер» заставит его вернуться раньше времени.

Наши путешественники прибыли наконец после утомительного пути в Париж 18 октября.

Первые дни пребывания, впечатления от самого города, от встречи с энциклопедистами, видимо, рассеяли несколько тоску Беккариа. «Город, — пишет он Терезе на следующий день, — воистину огромный, множество народа, красивые улицы, все это производит самое сильное впечатление. Я видел Даламбера, Морелле, Дидро, барона Гольбаха, у которого я уже сегодня обедал. Ты не поверишь, какой прием, какие проявления дружбы и уважения нам были оказаны. Дидро, барон Гольбах и в особенности Даламбер кажутся более всех очарованными нами. Даламбер человек, в котором чувствуется превосходство, а вместе с тем он сама простота. Во всем обращении Дидро проявляется его живость и добродушие. В общем, у меня есть все, кроме тебя, дорогая. Все стремят-

¹ Марлей, Дидро и энциклопедисты (русский перевод), 1882. С. 203.

ся доставить мне удовольствие, и те, кто это делает, — самые великие люди Европы. Все стремятся услышать меня, и никто не проявляет ни малейшего знака превосходства».

Но уже через неделю он пишет Терезе, что потерял свой покой и что у него только одно средство вновь обрести его — как можно скорее вернуться в Милан. «Всеми, всему Парижу, всему, что может быть приятным, я предпочитаю мою жену, моих детей, мою семью, моих миланских друзей и, превыше всех, тебя».

К этому, чисто личному, письму приложено было другое, которое Тереза могла бы показать родным и близким. Оно свидетельствует о большой и глубокой наблюдательности Беккариа:

«Моя дорогая подруга!

Мы остановились в отеле Мальта, улица Траверсмер, близ церкви св. Роха.

Париж — огромный город, из которого получилось бы три Милана. В нем кипит и шумит полмиллиона людей. Шум повозок, карет, обилие и красота лавок, все на улицах вызывает мысль о труде и прилежании. Вы подумаете, что все заняты, а когда пойдешь в Тюильри, в Люксембург, в Пале-рояль, на бульвары, где кафе, фокусники, игры, бродячие театры всякого рода, театры кукол и артистов, французские и итальянские концерты; когда пойдешь в три театра, открытые целый год, и везде находишь толпу, то тогда кажется, что Париж только и думает, что о наслаждении и безделье! Город построен лучше и красивее, чем Милан, хотя архитектура церквей и общественных зданий значительно уступает нашей: манера французов слаба и мелка, итальянская манера величественна и мужественна. Французский театр является самым прекрасным зрелищем для человека с сердцем.

Все литераторы приняли меня с открытыми объятиями. Что они говорят, что они ради меня делают — могло бы вскружить голову не одному человеку. Надеюсь, что этого со мной не случится. В их обращении сказывается простота, скромность и вежливость, взаимное уважение и в то же время полная непринужденность беседы. В них нет той национальной зависти, претензий на превосходство, которые свойственны столь многим весьма умным людям в Италии. ...Рассказывают и подтверждают новость, что существуют Патагонцы, великаны от девяти до десяти футов. Капитан одного корабля привез оружие и одежду этих первенцев нашего рода. Даламбер не сомневается в их существовании. Утверждают также, что в Аравии живет один философ, который открыто проповедует чисто естественную религию и у которого много последователей.

Вот главные новости. Здоровье мое нарушено благодаря сенской воде, действующей на меня, как слабительное»¹.

Далее следуют приветствия отцу, матери и т.д.

Но 14 ноября Беккариа пишет Терезе, что тоска его неизлечима².

Получив лионское письмо Беккариа, Пьетро Верри послал ему длинное и довольно наставительное письмо, убеждавшее побороть свои настроения и не делать себя посмешищем на родине благодаря столь быстрому возвращению.

Уговоры Верри, конечно, не могли подействовать на Беккариа. Он пишет 15 ноября Пьетро, что, когда он убедился в том, что вся Европа относится к нему с уважением, его мало заботит, что будет думать о нем Милан. «Не беспокойся о моей репутации... Дорогой друг, мне уже около 30 лет. Предоставь мне спокойно идти дорогой, согласно моим чувствам, моему характеру, моим потребностям... Начиная с 2 октября и по настоящий день я не имел счастья. Сладкие пары славы и уважение, которое мне оказывалось в этом отечестве философии, были и всегда останутся пронизанными чем-то горьким и жгучим, что поднимается из глубины сердца... Все зовет меня к возвращению, сопротивление излишне» (Буви).

Беккариа покинул Париж 25 или 26 ноября и 12 декабря был в Милане.

Настроение Беккариа, конечно, не могло быть скрыто от его парижских друзей. Из «Корреспонденции» Гримма от 15 ноября 1766 г. мы видим, какие слухи ходили по Парижу по поводу Беккариа. Утверждали даже, что вообще поездка состоялась благодаря его размолвке с женой, а как только они помирились, то он сейчас же и уехал в Милан. Гримм лично встречался с Беккариа. «В лице Беккариа, — пишет он, — отражены те черты ломбардской доброты и простоты, которые с удовольствием встречаешь в его книге» (VII).

Рассказывая в своих «Мемуарах» о пребывании Беккариа в Париже, Морелле пишет, что его принимали во всех кружках, у барона Гольбаха, Гельвеция, Мальзерб, у мадам Жофрен, Неккер и др. — «и мы даже не знали, как его чествовать».

Но вряд ли это было в действительности так, как изображает Морелле тридцать лет спустя, говоря, будто бы Беккариа появился в Париже «мрачный и замкнутый и из него не выгаташишь четырех слов». Этому противоречит и свидетельство Алессандро Верри, оставшегося после отъезда Беккариа на некоторое время в Париже. В письме к брату Пьетро от 15 января 1767 г., когда уже вражда с Беккариа разгорелась, говоря о наиболее знаменитых людях, с которыми он и Беккариа встречались, Алессандро пишет: «Я видел повседневно, как всех их значительно превосходил своей логикой Беккариа, который часто сводил к немногим положениям море слов и бессмыслицы».

¹ Это место показывает, что, говоря в своей книге о «политическом тунеядстве», Беккариа имел в виду не только монахов.

¹ Это было «подготовкой почвы». В личном письме Терезе он писал: «Скажу тебе, по секрету, здоровье мое отличное, но ты должна говорить обратное».

² Письма Беккариа к жене за время поездки в Париж опубликованы Кантү.

В первые недели после возвращения Беккариа в Милан происходит разрыв его дружбы с братьями Верри. Буви, исследовавший внимательно эту страницу из жизни Беккариа и Пьетро Верри, считал, что причины их расхождения — не в «семейных тайнах Беккариа», на которые, как призывал Кантú, «наш долг набросить покрывало» (Кантú). В разрыве Буви считает одинаково виновными обе стороны. Пьетро Верри был преданным другом настолько, что мог жертвовать собой. Но, как замечает Буви, он не умел забывать или хотя бы делать вид, что забывает, оказанные им услуги. Поездка в Париж всю славу принесла одному Беккариа. Авторство «Ответа», которому Верри в то время придавал, как мы видели, такое значение, осталось совершенно в тени.

Пребывание в Париже, тот почетный прием, который был оказан энциклопедистами, в свою очередь, не мог не усилить у Беккариа сознания своей значимости, и ему не так легко было сносить «опеку» Пьетро Верри.

Объяснения Буви подтверждаются и перепиской Беккариа с Биффи. Еще в самом начале 1762 г. Беккариа писал Биффи: «Все умные рассуждения, которые я выслушиваю от моих истинных друзей Верри, не только не убеждают меня, но превращаются в цепи, сковывающие мою свободу и мою дикую независимость. Увы, мой рассудок бессилен над моим чувством» (Ландри).

Вражда Беккариа с братьями Верри расстроила тесные ряды кружка «миланских философов». Одни примкнули к Беккариа, другие — к Верри. Беккариа и Верри возводили друг на друга необоснованные, чрезмерные обвинения. Но постепенно вражда улеглась, а впоследствии наступило и полное примирение.

ГЛАВА IX

Заботы Беккариа об устройстве своей судьбы. Причины, которые могли побудить его отказаться от дальнейшего переиздания своей книги

Книга «О преступлениях и наказаниях» принесла Беккариа европейскую известность, но не дала никакой материальной независимости и обеспеченности.

Вместе с тем в начале 1767 г. предложение Екатерины II о переезде Беккариа в Петербург было сделано уже в самой серьезной форме. Об этих предложениях Беккариа сообщал своим новым парижским друзьям, но те самым решительным образом высказывались против такой мысли. «Я не понимаю, мой друг, — писал ему Морелле в марте 1767 г., — как вы можете серьезно спрашивать, должны ли вы отправиться в Россию. Если бы у вас не было семьи, если бы вы не были привязаны к родственникам и к друзьям, если бы вы не жили в прекрасном климате, я бы вам сказал: поезжайте. Но при вашем положении это было бы безумием, тем более при вашем характере и при известном беспокойстве, свойственном вам..»

Даламбер также отговаривал своего «дорогого знаменитого друга» от поездки. «Говорят, — писал Даламбер 2 июня того же года, — что вы серьезно думаете о путешествии в Россию; я не знаю, какие соображения побуждают вас к этому. Но я прошу вас, мой дорогой друг, подумать еще перед тем, как окончательно решиться. Вспомните все, что я говорил вам по этому поводу. Вы отказываетесь от прекрасного климата ради прескверной страны, от свободы ради рабства и от ваших друзей ради принцессы, хотя и с большими заслугами, но которую лучше иметь в качестве любовницы, чем жены». Но, видимо, Даламбер с искренней любовью относился к Беккариа, потому что тут же добавлял: «какое бы, впрочем, решение вы ни приняли, в какую бы страну вы ни отправились, будьте убеждены, что я всегда одинаково буду интересоваться вами» (Ландри).

Трудно сказать, насколько серьезно думал Беккариа о переселении в Россию. Но он воспользовался предложением Екатерины с целью оказать известное моральное давление на венское правительство. Он ознакомил с этим предложением графа Фирмиани, а тот в свою очередь поставил об этом в известность канцлера Кауница. Последний ответил (27 апреля), что нельзя допустить, чтобы страна лишилась подданного, книга которого свидетельствует, что он хороший мыслитель, и просил сооб-

щить более подробные сведения о Беккариа. Граф Фирмиани, сообщая о социальном и семейном положении Беккариа, писал (9 мая), что он один из тех весьма немногих, которые любят науку. «Его образ жизни, весьма разумный, сделал его мало симпатичным в глазах его сограждан. В особенности духовенство возбуждено против него за его книгу “О преступлениях и наказаниях”». Но тут же Фирмиани добавляет, что «ответ автора на известные нападки был полон умеренности и делает честь его чувствам».

Тогда Кауниц поручил передать Беккариа, что он будет назначен профессором кафедры политической экономии, которую венское правительство предполагало открыть при высшей Палатинской школе в Милане.

Но все же устройство судьбы Беккариа затягивалось. Фирмиани действовал довольно вяло, как предполагает Амати, считаясь с враждебным отношением к Беккариа консервативных миланских кругов. Венское правительство было более настойчивым, и 22 декабря 1768 г. состоялся указ о создании кафедры «камерально-экономических наук» с назначением Беккариа профессором с окладом в три тысячи ливров¹.

В своих «Мемуарах» Морелле пренебрежительно пишет, что, возвратившись в Милан, Беккариа мало что сделал, и говорит, что конец его не отвечал его началу — «явление общее, по мнению Морелле, итальянским литераторам, в которых первый огонь загорался очень живо, но которые в 25 и 30 лет разочаровываются подобно Соломону и приходят к заключению, что знание — суета, не дождавшись того, чтобы стать такими же мудрыми, как он» (т. I).

Это суждение слишком сурово. Морелле сбрасывает со счетов сочинение Беккариа «О стиле», первая часть которого и фрагмент второй, в общей сложности около 22 листов, были опубликованы в 1770 г. и переведены самим же Морелле на французский язык. Возможно, что Морелле не знал, что плодом лекций Беккариа явился обширный, правда неоконченный, и опубликованный только в 1804 г. курс политической экономии.

Кроме того, имеются сведения, что уже с 1765 г. Беккариа замышлял большой труд «О законодательстве». Об этом велись разговоры и во время пребывания его в Париже. В записной книжке Беккариа к этой теме относится ряд афоризмов. Кроме того, Ландри удалось обнаружить в миланском государственном архиве начало, как он утверждает, этого труда, написанное рукой секретаря Беккариа, работа, относящаяся по некоторым данным к лету 1768 г.

Но к своей книге «О преступлениях и наказаниях» Беккариа больше уже не возвращался.

В своем первом письме Беккариа живо интересовался «замечаниями» на книгу со стороны Морелле и его друзей, в особенности Дидро. Он просил прислать эти замечания, чтобы воспользоваться ими при шестом

издании. Из второго письма Морелле (сентябрь 1766 г.) видно, что замечания эти еще не посланы. Но тут же он сообщал о своем разговоре с Дидро. «Дидро думает, — писал Морелле, — что вы не должны терять из виду вашего рассуждения “О преступлениях”, ибо материя эта бесконечно привлекательна, что вы должны использовать внимание, которое вы пробудили к этому предмету, и что, не торопясь, через год, например, надо выпустить новое издание, с истолкованием и развитием того, что вы уже сказали, и с присоединением того, что вы еще можете сказать».

Очевидно, замечания как Морелле, так и Дидро были получены Беккариа в Париже. Переписанные рукой секретаря Морелле, они сохранились в архиве Беккариа. Большая часть замечаний Дидро была впервые опубликована Редерером в 1797 г. в его издании книги Беккариа, остальное — во французском издании этой книги Коллин де Планси (1823). Там же опубликована большая часть замечаний Морелле (дополнения у Ландри).

Так или иначе, Беккариа по возвращении из Парижа располагал этими замечаниями. Да и в Париже ему, несомненно, приходилось касаться ряда вопросов своей книги. И тем не менее он не продолжал работать над ней. Явление — психологически весьма интересное. Возможно, что одной из причин его были именно эти замечания и разговоры. С легкой критикой Морелле можно было примириться. Но у Дидро с Беккариа оказались и серьезные расхождения. Дидро допускал пытку, считая ее «справедливой», если она применяется при таких преступлениях, как убийство, разбой, произведенные шайками, когда ни свидетелями, ни иными доказательствами нельзя узнать сообщников. «Подумайте только, — писал дальше Дидро, — что несколько минут мучений злодея могут спасти жизнь сотни невинных, которых умертвили бы его соумышленники, тогда пытка покажется вам делом человеколюбивым» (замечания к главе «О пытке»). Беккариа в главе о «мягкости наказаний» (§ XXVII) говорит, что жестокость наказаний ожесточает души людей — Дидро замечает: «Я этому не верю», оговариваясь, правда, что он тем не менее согласен с автором, что суровость наказаний бесполезна.

В 1920 г. во Франции были опубликованы впервые «Замечания» Дидро, написанные им в 1774 г. на «Наказ» Екатерины и составляющие целую брошюру в несколько листов¹. В этих «Замечаниях» он, хотя и редко, останавливается и на вопросах уголовного права. В замечании, текст которого отразил некоторые строки Беккариа из главы «Мягкость наказаний», Дидро пишет, что он не отрицает за рассуждением «О преступлениях» характера гуманности, доставившего ему столь большой успех. Но он считал бы необходимым привести простой арифметический подсчет. В Париже, по словам Дидро, казнят ежегодно 150 человек, столько же в остальной Франции; на 25 миллионов — 300 человек, что составит 1 человек на 83 тысячи. Гораздо больше жертв, — кончает Дидро, — уносят «пороки, балы, праздность, плохие врачи».

¹ История назначения Беккариа профессором довольно подробно изложена у Канту. Кроме того, Ландри опубликовал некоторые новые документы.

¹ Révue d'histoire économique et sociale 1920 № 3—4

С такого рода взглядами на пытку, на смертную казнь, которые могли быть высказаны Дидро при личных встречах в Париже, Беккариа при всем своем уважении к нему не мог, конечно, согласиться. Обойти их молчанием в новом издании вряд ли было удобным.

Но «советы», которые давались ему парижскими друзьями, требовали вообще настоящей переработки книги и в смысле изложения. Еще Даламбер в приписке к первому письму Морелле советовал Беккариа в следующем издании выбросить все геометрические и научные выражения, заменив их простыми и общедоступными. В «метафизике, и в особенности в морали, — писал Даламбер, — нужно, кажется мне, как можно меньше уклоняться от общепринятого языка, потому что в этих сочинениях обращаются ко всему человечеству, и нужно как можно яснее говорить о том, что каждого так сильно интересует».

Несомненно, и Дидро имел в виду в значительной мере форму изложения Беккариа, когда заканчивал свои немногочисленные замечания следующим пожеланием: «В интересах человечества важно, чтобы сочинение это было доведено до своего совершенства и было бы убедительным для самого простого человека, ибо, чтобы дойти до ушей правительства как голос народа, полезные истины должны захватить простых людей».

Не знаем, откуда Беликов взял, что Беккариа находил замечание Даламбера вполне верным и даже несколько раз принимался исправлять свое изложение, но что это ему не удалось. Несомненно одно: Беккариа не исправил и, как нам думается, психологически не в состоянии был «исправить» свое сочинение. Мы постараемся показать в последних двух главах, XI и XII, насколько содержание книги Беккариа органически связано с формой ее изложения. Беккариа ощущал, если не сознавал, что успех его книги связан именно с формой его изложения, его языком. Советы Дидро и Даламбера не могли быть им приняты.

Помимо этих соображений от дальнейшей переиздания могла удерживать Беккариа мысль об авторстве «Ответа» и вопрос о том, должен ли он последовать «редакции» Морелле. Возможно также, что Беккариа не хотел увеличивать неприязнь к себе духовенства и консервативных миланских кругов. Во всяком случае и в 1767 г., и в 1768 г. мысли его были заняты в первую очередь устройством своей судьбы — переговорами с Петербургом, с Веной. Естественно, что он отстранился от переработки книги и оставил ее в том виде, в каком она сложилась у него в пятом издании 1766 г.

После 1766 г., несмотря на то что автор книги прожил еще 28 лет, он в жизни ее больше не участвовал. Книгу издавали на итальянском языке, ее переводили на иностранные языки, она породила целую литературу еще при жизни автора, но сам автор оставался в стороне от всего вызванного им же движения. Он ни разу даже не откликнулся на него.

ГЛАВА X

Чтение лекций по политической экономии. Переход на административную службу. Последние годы жизни

Вступительная лекция к курсу была прочитана Беккариа 9 января 1769 г. при торжественной обстановке, в присутствии графа Фирмиани. Она была напечатана в том же году и тогда же переведена на французский язык.

Свои лекции Беккариа читал на итальянском языке, они продолжались до апреля 1771 г. В связи с чтением лекций Беккариа написал «Элементы публичной экономии» — самый обширный свой труд, но, к сожалению, неоконченный. Курс этот не был закончен и не был опубликован, несмотря на официальное напоминание Кауница через Фирмиани, что Беккариа обещал это сделать.

Но в рукописном виде эти лекции имели широкое распространение по Италии вплоть до самой смерти Беккариа. Впервые они были опубликованы в 1804 г. в издании «Собрание сочинений итальянских экономистов».

В фундаментальном исследовании Жид и Рист «История экономических учений» (русское издание 1918 г.) о Беккариа не упоминается, как и вообще об итальянских экономистах XVIII в.

В начале 1771 г. открылась вакансия в Высшем экономическом совете Ломбардии, и Беккариа обратился лично к Кауницу с просьбой назначить его членом этого совета. Так как венское правительство в свое время хотело предоставить Беккариа вполне обеспечивающую его должность, то 29 апреля того же года и состоялось его назначение, с окладом в восемь тысяч ливров. Обычный оклад был увеличен на три тысячи из внимания к известности, которую Беккариа приобрел своими трудами не только в Италии, но и в других странах (Кантү).

Наконец Беккариа получил ту экономическую независимость, которой он так страстно добивался в течение десяти лет, с 1761 г. Отец его умер в 1782 г., 65 лет; он был на 21 год старше своего сына, и без полученной должности Чезаре Беккариа экономически зависел бы от отца до самой его смерти.

Членом Экономического совета, как мы уже говорили, Пьетро Верри состоял с 1766 г. (Впоследствии он был его председателем.) Таким образом жизненные пути их снова сблизились.

Личная жизнь Беккариа за длительный период с 1771 г. по день смерти в 1794 г. может быть отмечена лишь такими событиями, как смерть Терезы и

вторая женитьба вскоре после этого. Тереза умерла 14 марта 1774 г., 29 лет, а 4 июня Беккариа женился на графине Анне Барбо.

Поспешная женитьба Беккариа казалась для многих странной, находящейся в противоречии с той пламенной любовью, которую он питал к Терезе, которая так ярко выразилась в его письмах к ней во время поездки в Париж. Возможно, что на поведении Беккариа отразились «семейные тайны», которые были известны Кантү, но на которые он считал своим долгом набросить «покрывало забвения». Возможно, что скорая женитьба была вызвана простыми житейскими соображениями, заботами о маленьких дочерях и вообще о доме. Во всяком случае брат Терезы через две недели после вторичного брака писал Беккариа, что он продолжает питать к нему все свое прежнее уважение, что он ни в малейшей степени не осуждает его шага, так как его занятия не позволили бы уделить домашним делам время, «столь плодотворное для родины и для человечества» (Амати).

На чувства Беккариа к Терезе известный свет проливает одно из интимных писем его к Биффи, относящееся ко второй половине 1763 г., т.е. к третьему году их брака.

«Любовь, которую я испытываю к моей дорогой подруге, — писал Беккариа, — превратилась в глубокое уважение, в настоящую дружбу, в невыразимую нежность. Но вы знаете, друг мой, что раз страсти утолнены, предмет их теряет ту прелесть, что дает воображение, и ту сладчайшую иллюзию, что отличает любовь от потребностей природы» (Ландри).

В связи с этим письмом Ландри находит, что у Пьетро Верри были известные основания критически отнестись к постоянным ссылкам Беккариа на любовь к Терезе во время парижской поездки и что его душевная тревога объясняется больше ревностью, чем любовью, «или скорее, — как замечает Ландри, — его постоянным иррациональным и болезненным беспокойством, усиленным благодаря отдалению».

Нет никаких документов, рисующих отношение Беккариа к своим детям — двум дочерям от первого и к сыну от второго брака. Во всяком случае биографы Беккариа ничего не говорят об этом. Можно только позавидовать Буви, который располагал большим материалом, рисующим отношения Пьетро Верри к его дочери и его взгляды на воспитание детей.

Вообще сведения о последнем периоде жизни Беккариа — более чем скудны. Если Беккариа и раньше, до прихода славы, избегал большого общества, то и после он не изменился. Беккариа не был честолюбив и в молодости, об этом свидетельствуют его письма к Пьетро Верри и Биффи.

Если Беккариа и воспользовался своей известностью для получения должности, обеспечивающей его экономическое положение, то это не значит, что он стремился к какой-нибудь «карьере». По существу, его должность члена Высшего экономического совета была хотя и почетной, но весьма скромной по кругу деятельности. Она давала ему возможность спокойно жить согласно идеалам, высказанным им в статье «Наслажде-

ния воображения». Беккариа настолько избегал сближения с «высочайшими особами», что когда неаполитанский король во время своего пребывания в Милане хотел навестить его, то он постарался не быть дома (Амати).

После поездки в Париж Беккариа почти безвыездно прожил в Милане или в сельской вилле в Чессате, куда он так любил удаляться от городского шума еще в ранней молодости. Только два раза он покидал Милан: в 1768 г. из-за болезни Терезы он поехал с ней в Пизу, на морские купанья, и в 1790 г. ему пришлось совершить служебную поездку в Комо (Северная Италия).

После 1770 г., когда было опубликовано его сочинение «О стиле», Беккариа больше ничего не печатал. Он как бы сам стремился к тому, чтобы Европа забыла о его существовании. Прекратилась и переписка с парижскими друзьями. Сохранилось одно письмо от Даламбера, опубликованное Ландри. Оно лишний раз подтверждает, что Даламбер питал истинное дружеское и любовное отношение к Беккариа.

«Я не знаю, — писал Даламбер в июне 1773 г., — помните ли вы еще меня, но я никогда не забуду автора трактата “О преступлениях и наказаниях”». Письмо заканчивалось словами: «Не знаю, посчастливится ли мне свидеться с вами вновь, в Милане или Париже, но будьте, прошу вас, вполне уверены, что до последней минуты моей жизни я буду питать к вам чувства уважения и привязанности, которые вы мне внушили» (Ландри).

Можно понять, почему Беккариа прекратил свою печатную литературную деятельность. Но мы не нашли ни у кого объяснений и сами не можем их дать, почему Беккариа перестал ею заниматься, хотя бы в тиши своего «уединенного кабинета». Нет даже намека на то, чтобы он записывал какие-нибудь свои «мысли». От этого периода сохранились только материалы, связанные с его служебной деятельностью. Несомненно, Беккариа как член Экономического совета стремился претворять в жизнь идеал «магистрата», «неподкупных служителей власти, которые свободно и с красноречием, вызванным любовью к отечеству, разъясняли и поддерживали бы истинные интересы суверена... несли бы к престолу вместе с данью любовь и благословение ото всех сословий, а от него к дворцам и хижинам мир, безопасность и надежду на лучшее будущее...»

Беккариа был добросовестным «служителем власти», но он не мог быть настолько обремененным своими обязанностями, учитывая темпы XVIII в., чтобы у него не оставалось времени для своей личной литературной работы.

Ряд «служебных» бумаг извлек из архивов и опубликовал в своей книге Кантү в 1861 г.¹ Из них две имеют непосредственное отношение к вопросам уголовного права.

В 1791 г. в Милане была образована комиссия по составлению проекта уголовного кодекса для Ломбардии, которая в своих работах должна

¹ Ряд других документов, относящихся к чисто служебной деятельности Беккариа, опубликован итальянским исследователем Эррера в 1879 г. (Эссельборн, I).

была учесть и изданный незадолго до того австрийский уголовный кодекс 1787 г. По личному желанию императора Леопольда II в эту комиссию был включен и Беккариа. В заседании 22 января 1792 г. в подкомиссии, выделенной для обсуждения принципиальных вопросов, рассматривался вопрос о смертной казни. Беккариа, отстаивая взгляд, что смертная казнь допустима лишь в одном случае — при заговоре против государства, остался вместе с двумя другими членами в меньшинстве. От имени этих трех членов было подано особое мотивированное мнение. В нем, в общем, приводятся доводы против смертной казни, высказанные Беккариа в его книге, но прибавлен еще один довод, указанный в свое время Морелле в его «Замечаниях», — непоправимость судебной ошибки.

В литературе о Беккариа останавливаются именно на этом документе. Но нам он не представляется существенным, хотя бы потому, что исходит от трех лиц, а не только от Беккариа.

Несравненно больший интерес представляет другой документ — «Краткие рассуждения об Общем кодексе, поскольку он касается преступлений политических», т.е., по терминологии того времени, «полицейских» преступлений, противопоставлявшихся «преступлениям» в узком смысле. По объему эти рассуждения больше печатного листа. Эта докладная записка была составлена по желанию канцлера Кауница и предназначалась, как это подчеркивал Беккариа, только лично для него.

В конце своих «рассуждений» Беккариа просит извинить его за ошибки и упущения, ссылаясь на свою занятость другими служебными делами и на то, что он давно не занимался «криминальными материями», практики в которых у него вообще никогда не было.

В своих «рассуждениях» Беккариа был связан самим материалом и задачей, поставленной перед ним, — дать отзыв о кодексе, вернее части его. Тем интереснее обобщения, которые он выдвигает.

Беккариа поднимает общий вопрос о природе преступлений. Под «уголовными» он считает необходимым понимать только такие преступления, которые направлены непосредственно на разрушение самого общества, а под «полицейскими» — те, которые только косвенно ведут к этому. «Уголовные» преступления нет нужды определять в законах. Их сущность установлена естественным правом, она одинакова во всех климатах, во все времена, при всех формах правления, у всех наций, если они не варварские и дикие, а цивилизованные. Напротив, преступления «полицейские» получают свою главную квалификацию от самих положительных законов, которые являются и должны быть различными в соответствии с временем, климатом, формами правления, с состоянием каждой нации. В связи с делением преступлений на два рода Беккариа рассматривает и вопрос о задачах наказания. При наказании за «уголовные» преступления необходимо стремиться скорее к созданию примера, чем к исправлению виновного. При «полицейских» преступлениях надо иметь в виду, наоборот, в первую очередь исправление. Но при обоих родах преступлений не должно быть упущено ни то, ни другое.

В тесной связи с природой преступлений и задачами наказания решает Беккариа и вопрос о смертной казни. «Поскольку наказание за уголовные преступления должно служить ощутимым и длительным примером, смертная казнь должна быть отменена совсем и заменена длительными и ужасными наказаниями, в соответствии с преступлением». Полной отмены смертной казни в своей книге Беккариа не требовал.

Беккариа останавливается на некоторых статьях кодекса и дает прекрасный их юридический анализ. «Если бы мне позволили обстоятельства и время, — пишет он, — то я мог бы исследовать каждую отдельную статью Кодекса и сделать при этом ряд замечаний, которые могли бы послужить к пониманию и смягчению многих статей».

Со времени написания книги «О преступлениях и наказаниях» прошло почти тридцать лет. И мы видим, что в «Рассуждениях» звучат те же мотивы. Более того, вопрос, например, о разделении преступлений на роды разрешен с большей ясностью.

Можно ли считать высказанное в «Рассуждениях» разъяснением того, что было написано тридцать лет тому назад, или же мы видим перед собой плод размышлений позднейших лет по вопросам о преступлении и наказании? Думал ли Беккариа и раньше также о смертной казни и только не решился публично высказать свой взгляд? Ведь он навлек на себя обвинение со стороны Факинеи в том, что отрицает за суверенами право на применение смертной казни.

Такого рода вопросы невольно встают при чтении «Рассуждений», но ответ на них был бы гаданием, а не научным выводом.

Но все же «Рассуждения» говорят о многом.

Наличие их подтверждает наш взгляд, что Беккариа был неплохой юрист. Он, безусловно, владел юридической «техникой» и при желании мог бы в свое время написать настоящий «юридический» трактат о преступлениях и наказаниях, хотя бы и на латинском языке. Но, конечно, в такой «трактат» он не мог бы вложить того «жара чувства», которым проникнута его книга.

Можно сделать и второй вывод. За долгие годы своей служебной деятельности Беккариа не изменил убеждениям своей молодости. Идеи, высказываемые в «Рассуждениях», — те же, что и в его книге. Он не перестал быть и мыслителем. В «служебной» докладной записке он обращает свой взор к будущему. «Законы и кодексы должны создаваться на будущие времена, а не для тех лиц, которые в настоящее время держат власть в своих руках», — пишет он в конце своих «Рассуждений».

В этом документе Беккариа был в значительной мере связан материалом. Тем сильнее действуют те «вспышки», «афоризмы», встречающиеся в «Рассуждениях». Чувствуется стиль его книги, когда мы читаем, что «люди охотнее переносят большее, но привычное зло, чем зло меньшее, но новое», или «полицейский трибунал должен быть авторитетным отцом, а не судьей, исправителем, а не мстителем за действия человеческие».

Последние годы жизни Беккариа совпали с годами французской буржуазной революции. Биографы рассказывают, что Беккариа не примк-

нул к тем, которые хотели бы и в Милане последовать примеру Парижа, но, с другой стороны, не присоединился и к консерваторам, видевшим во французской революции мировую катастрофу (Амати). Недаром в главе «О науках» (§ XLII) Беккариа за 25 лет до этой революции писал, что «часто ради последующих поколений приносится в жертву целое поколение — во время печального, но необходимого перехода от мрака невежества к свету философии и от тирании к свободе». «Но когда улягутся страсти, когда погаснет пожар, очистивший нацию от зол, ее угнетавших... кто может тогда утверждать, что свет, просвещающий массы, вреднее тьмы и что истинные и простые отношения, хорошо познанные людьми, гибельны для них?»

В июне 1794 г. Пьетро Верри в одном из своих писем к брату Алессандро сообщал, между прочим, что в Милане появилась сатира, в которой в качестве якобинцев рисуется он, Беккариа, Парини и что авторство этой сатиры приписывается синьору Карпини и священнику Каркано... (Амати).

Недаром Беккариа писал когда-то Морелле: «Миланцы не прощают тем, кто хотел бы их заставить жить в XVIII в. ...»

28 ноября 1794 г. Беккариа был найден мертвым в своей комнате. Смерть последовала от паралича сердца. Беккариа предвидел возможность такого конца, а потому боялся одиночества и советовал своим домашним не оставлять его одного, часто говоря, что «силы природы недостаточно еще познаны и всегда имеется опасность стать жертвой какого-нибудь из ее явлений» (Амати).

Смерть Беккариа прошла совершенно незамеченной в Европе. Это вполне понятно. Беккариа сам давно уже отошел от нее. К тому же все внимание Европы было обращено в то время на Францию. Но характерно то, что на родине Беккариа смерть его не была отмечена даже одной газетной строчкой. Горячую речь в память своего друга «бессмертного Беккариа» произнес Пьетро Верри в заседании Миланского муниципалитета, призывая его поставить мраморный бюст «великому человеку, прославившему свое отечество, чья бессмертная книга “О преступлениях и наказаниях” переведена на все европейские языки и находится во всех библиотеках мира среди высших произведений философии...» (Амати).

Призыв Верри оказался «гласом вопиющего в пустыне».

ГЛАВА XI

Внутренний план книги «О преступлениях и наказаниях»

Беккариа писал свою книгу языком афоризмов, языком кратких положений. Любопытно, что один из его критиков, профессор Джудичи, разбил весь текст книги (с очень небольшими пропусками) по шестому ее изданию на 281 отрывок-положение, поместив на каждый из них свое замечание. Эта особенность книги значительно облегчила «труд» Морелле по перекраиванию книги.

Но сочинение Беккариа — не собрание афоризмов, заносимых время от времени в записную книжку. Беккариа писал его, руководствуясь известным планом, определенными направляющими идеями.

Насколько нам известно, в литературе до сих пор не сделано было даже попытки проникнуть в этот «внутренний план» книги. Явление вполне понятное, потому что в XIX и XX вв. литература имела дело с Беккариа «в редакции Морелле».

Прежде всего следует помнить, что обращение «К тому, кто читает», впервые помещенное в пятом издании, является не «предисловием», а по своему существу «послесловием» и имело в виду не «читателей», а венское правительство и его наместника в Ломбардии.

«Подлинная» книга начинается с «Введения». Как мы знаем, идея книги зародилась в кружке миланских друзей Беккариа, среди горячих бесед о жестокости уголовных законов того времени. И вот в небольшом «Введении» широкими мазками намечаются задачи предстоящей работы. Надо наконец обратить внимание человечества на «жестокость наказаний и беспорядочность уголовного судопроизводства», надо наконец прислушаться к «стонам слабых, приносимых в жертву свирепому невежеству и изнеженному богатству», посмотреть на «варварские истязания, расточаемые с бесполезной жестокостью за преступления, недоказанные или воображаемые», «на мрак и ужас темниц».

Все это ставится в связь с тем, что «законы» являются до сих пор только «орудием страстей незначительного меньшинства», а не «договорами свободных людей», что они не стремятся к тому, чтобы дать «возможно большее счастье для возможно большего числа людей».

И заканчивается это «Введение» мыслью, во власти которой Беккариа был все время, когда писал свою книгу: «Я был бы счастлив, если бы мог... заслужить признательность скромных и мирных последователей разума и вызвать тот сладостный трепет, с которым чувствительные сердца откликаются на призыв защитника человечества».

Как же поступил Морелле? Он дополнил «Введение» двумя отрывками. Первый он взял из § VIII о «подразделении преступлений». И после горячих строк, которыми заканчивалось подлинное «Введение», в редакции Морелле мы вдруг читаем: «Теперь следовало бы изучить и установить различие между всеми родами преступлений и их наказаниями...» — отрывок, место которого у Беккариа вполне было оправдано в § VIII. Вторым дополнением является последний абзац § XI со слов: «но какие наказания соответствуют этим преступлениям?» У Беккариа эти слова вполне понятны, потому что им предшествует рассуждение о различного рода преступлениях (§ VIII, IX, X, XI).

В § I и II Беккариа говорит о происхождении наказаний и о праве наказания, а затем из установленных в них «начал» делает в § III и IV соответствующие выводы: наказания должны устанавливаться только законами, законы обязательны для всех, толкование их не может принадлежать суду.

На примере § V мы видим ход мысли Беккариа. Толкование законов — зло. Но оно порождается «темнотой законов». Законы же должны быть ясны не только для судей, но и для всех граждан. Отсюда страстная критика устарелого обычая, продолжающего существовать в значительной части образованной и просвещенной Европы, издавать законы на чуждом народу языке. Законы должны быть доступны всем, что невозможно без книгопечатания. Отсюда и просветительное, и политическое его значение: без письменности общество не может иметь такого образа правления, «при котором власть исходит от всего общества... при котором законы изменяются не иначе, как по общей воле...» Так одна мысль влечет за собой другую, более общую и более важную, и заглавие даже короткого параграфа не соответствует его богатому содержанию.

Отвлекаясь в § V несколько от своей главной темы (вопрос о наказании), в следующих двух параграфах, VI и VII, автор снова возвращается к ней и обосновывает в § VI свое положение, что наказание должно быть «соразмерно», т.е. пропорционально преступлению. Переходя к § VII «Ошибки при установлении меры наказаний», «Беккариа прямо указывает на логическую связь, существующую между этими двумя параграфами: «Предшествующие размышления дают мне право утверждать, что единственным и истинным мерилom преступлений (а отсюда и наказаний) является вред, который они приносят нации».

После «Введения» Беккариа останавливается прежде всего на вопросах о наказании. Любопытно, между прочим, что в рукописи Беккариа сохранилось заглавие книги «О наказаниях и преступлениях».

От § VII естественный переход к § VIII—XI, в которых говорится о «подразделении преступлений» и об отдельных преступлениях. Само собой понятно, что Беккариа не задавался целью писать исследование по Особенной части уголовного права. Ему важно было нанести удар «азиатским воззрениям», «разъяснить основные начала», «указать наиболее вредные и распространенные заблуждения» Это он и делает иногда только в двух-трех словах, упоминая про такие, например, преступления, как

«оскорбление величества». Краткость в этих случаях объясняется и политической предосторожностью. Но там, где эти соображения не останавливают автора, он не сдерживает полета своей мысли и, коснувшись вопроса об оскорблении чести (§ IX), невольно затрагивает вопрос о поединках (§ X).

В § XII «Цель наказаний» делается некоторый вывод из изложенных до сих пор истин, причем поскольку лейтмотивом предыдущих параграфов являлся вопрос о наказании, а вопросы о преступлении связывались с этим главным вопросом, то в § XII кратко, но четко и определяется цель наказаний.

Как же поступил Морелле? В своей редакции после § V он последовательно помещает: § XXIX «О взятии под стражу», § XIV «Улики и формы суда», § XIII «О свидетелях», § XV «Тайные обвинения», § XXXVIII «Наводящие вопросы; показания», § XVIII «О присяге», § XVI «О пытке», § XXX «Процесс и давность» и, наконец, § XXXVII «Покушения, сообщники, безнаказанность».

«Все эти параграфы, — заявлял Морелле в предисловии к переводу, — относятся к производству дела и к средствам раскрытия и установления преступления, должны быть помещены перед главами, говорящими о наказаниях вообще и о некоторых наказаниях в частности».

Ни по заглавию, ни по содержанию глава о покушении, сообщниках и безнаказанности никакого отношения к вопросам процесса не имеет. Это было бы еще полбеды, дело в том, что Морелле разорвал естественную связь первых пяти параграфов с последующими § VI—XII. И подумать только, что Морелле убеждал Беккариа, что будто бы «им избран более правильный порядок... сближающий вещи, которые должны быть вместе и которые были разъединены...»

После § XII Беккариа переходит к параграфам процессуального характера. Это § XIII—XVI «О свидетелях», «Улики и формы суда»¹, «Тайные обвинения», «О пытке». Далее следует § XVII «О государственной казне». Надо иметь в виду, что этого параграфа не было в первых трех изданиях и он вместе с другими «дополнениями» был послан переводчику через Даламбера. Название параграфа нас в данном случае не должно смущать. В нем идет речь об уголовном процессе, об исторической связи, существующей, по мнению Беккариа, между денежным наказанием и признанием обвиняемого, которого впоследствии стали добиваться пыткой. Весь параграф является подлинным дополнением к предыдущему. Беккариа приводит в нем доводы против пытки, пропущенные им в первых трех изданиях. В заключение Беккариа противопоставляет широким обобщением «обвинительный» процесс «следственному», по современной терминологии — «розыскной» процесс — «состязательному».

Как же поступил Морелле с этим дополнительным параграфом? Он отнес его в конец книги, совместно с § XL «Ложные понятия о пользе» и

¹ § XIV «Улики и формы суда» появился только в третьем издании

§ XXVI «О духе семейственном». Такую группировку вопросов Морелле объяснял тем соображением, что для придания указанным параграфам большей силы их следует соединить и поместить после параграфов, толкующих о более частных вопросах, «ибо они заключают в себе общие причины заблуждений, объясненных или оспоренных на протяжении всего сочинения».

Казалось бы, с § XIX «Незамедлительность наказаний» последовательный ход мыслей автора прерывается и он возвращается к вопросам о наказании. Но в действительности этот параграф связан с предыдущим, так как в нем выдвигается требование, чтобы процесс был быстрым, и говорится о предварительном заключении. Процесс должен развиваться быстро, потому что наказание тем полезнее, чем скорее оно следует за преступлением, чем сильнее и длительнее будет связь двух идей: преступления и наказания. Но эта связь будет еще более укреплена сходством — по возможности — наказанием с природой преступления. Последнее положение и развивается в следующих параграфах. В § XX «Насилия» выдвигается положение, что преступления против личности подлежат личным наказаниям, за кражи (§ XXII) должно следовать рабство, заключающееся «в передаче лица и его рабочей силы в распоряжение всего общества...», посягательства на честь должны наказываться бесчестьем (§ XXIII), политическое тунеядство — изгнанием (§ XXIV).

В § XX Беккариа выдвинул принцип равенства всех перед законом. Впоследствии Беккариа почувствовал, что надо развить вопрос о дворянах, «привилегии которых составляют значительную часть законов различных наций», и в третьем издании появляется новый параграф «Наказания для дворян» (§ XXI).

В качестве наказания за «тунеядство» выдвигается изгнание. Но последнее связывается с вопросом о конфискации. Отсюда § XXV «Изгнание и конфискация». Но конфискация задевает семью, о чем Беккариа и говорит в конце параграфа. Мысль о «семье» вызывает у автора целый поток тяжелых воспоминаний о пережитом, вызывает думы и о настоящем своем положении. Появляются прекрасные страницы «О духе семейственном» (§ XXVI). Тут Беккариа спохватывается. «Ход моих мыслей, — замечает он в начале следующего параграфа, — отвлек меня, однако, от предмета моего исследования, к чему я и должен поспешить». И он возвращается к вопросу о «свойствах» наказания. В § XXVII «Мягкость наказаний» он останавливается на значении «неизбежности» наказания, делающей излишним его жестокость. Эта глава заканчивается гневными словами о «варварских и бесполезных мучениях», которым предаются люди «на потеху фанатической толпы», и естественным путем приводит автора к главе «О смертной казни» (§ XXVIII).

От этого психологически вполне понятного порядка изложения мыслей Морелле не оставил камня на камне. Совершенно не вникнув во внутреннюю связь отдельных параграфов между собой, он перетасовал не только их, но выкраивал из них куски, которые помещал в другие места. Вполне

был прав Гримм, когда писал, что Морелле, раскрыв книгу Беккариа на куски, сшил из них платье арлекина.

Такие приемы Морелле приводили порой и к искажению мысли Беккариа. Так, например, главу о «тунеядцах» Беккариа начинал словами: «Кто возмущает общественное спокойствие... должен быть исключен из общества, т.е. изгнан». Этот абзац, а равно и последний, где также говорится об изгнании, Морелле переносит в параграф об «Изгнании и конфискации», помещая последний в конец книги. Тем самым пропадает мысль Беккариа о том, что наказание должно соответствовать преступлению, отпадает его требование применить изгнание к «политическим тунеядцам», т.е. в первую очередь к монахам.

Мы считаем излишним дальнейшее сопоставление подлинного Беккариа с «редакцией» Морелле. Оно дается в приложении с указанием пропусков и изменений текста, немногочисленных правка, допущенных Морелле. Отметим только как пример крайнего преувеличения значения Морелле мнение Зарудного. По его словам, книга Беккариа принадлежит двум лицам: самому Беккариа и его французскому переводчику — аббату Морелле. «Первый, — говорит Зарудный, — открыто высказал общие, бывшие уже в то время всем известные понятия, которых, однако, тогда никто еще не решался высказать так решительно; второй привел эти понятия в порядок (!?)...»

Глава о смертной казни (§ XXVIII) — самая большая в книге. Видимо, она потребовала огромного напряжения сил Беккариа, вызвавшего, может быть, затем и перерыв в работе. Как бы накапливая силы для нового подъема, Беккариа возвращается к вопросам процесса — о «сроках», которые должны быть установлены для ведения уголовных дел, и о «давности» (§ XXX). Между этим параграфом и главой о смертной казни помещен § XXIX «О взятии под стражу».

Еще Кант установил, что этот параграф был написан после того, как рукопись была уже в наборе. Сохранилась пометка Беккариа, что «Взятие под стражу» надо поместить перед параграфом «О свидетелях», а если этого сделать уже нельзя, то перед параграфом «Процесс и давность» (§ XXX).

Этот случай характерен вообще для работы Беккариа над книгой. Размышления над вопросами, поднятыми в ней, не покидают его не только во время печатания книги, но и после выхода ее в свет. Отсюда дополнения к третьему изданию, дополнения, посланные Морелле (четвертое издание), вошедшие и в итальянское, пятое издание (1766) с некоторыми добавлениями.

Легко объясним переход от рассуждений о времени, необходимом для расследования дела, к «Преступлениям, трудно доказуемым» (§ XXXI). Здесь «ход мыслей» увлекает автора несколько в сторону. Вопрос о супружеской неверности (одно из таких преступлений) невольно заставляет Беккариа заговорить о браках вообще, а затем и о детоубийстве.

§ XXXII «Самоубийство» не стоит ни в какой связи с предыдущим, но он вполне оправдан в книге, посвященной «Преступлениям и наказаниям».

ям». В XVIII в. самоубийство считалось не только грехом, но и преступлением. Для Беккариа оно не было ни тем, ни другим и не должно было вызывать наказания, так как последнее поражает или «невинных» (близких), или «холодное и бесчувственное тело». Самоубийца покидает общество, в котором он живет, но так же поступает и переселяющийся в другое государство. Здесь Беккариа высказывает ряд общих мыслей о том, как нужно предупреждать эмиграцию. «Самое верное средство удержать граждан в отечестве заключается в улучшении благоденствия каждого из них». Вопрос о «благоденствии» связывается у Беккариа с вопросом о роскоши, внушенной тщеславием, и роскоши, направленной к увеличению удобств жизни. Мы видим, таким образом, что, по существу, заглавие «Самоубийство» охватывает только начало § XXXII.

Беккариа ставит вопрос о роскоши в связи с торговлей и промышленностью. Этим объясняется и наличие следующих параграфов: «Контрабанда» (§ XXXIII) и «О должниках» (§ XXXIV).

Беккариа, казалось, чувствовал, что работа подходит к концу. «Мне остается рассмотреть еще два вопроса, — начинает он следующий параграф, — вопрос об убежищах и выдаче преступников (§ XXXV) и о назначении цены за голову преступника» (§ XXXVI).

Но вопрос о «воображаемых» преступлениях (ересь, волшебство и т. п.) не переставал волновать Беккариа, он о них говорил еще во «Введении». И вот из-под пера его выливаются две блестящие страницы «Об особом роде преступлений» (§ XXXIX), которых одних было бы достаточно, чтобы занести книгу в «Индекс» запрещенных католической церковью сочинений. Это — «наихудшая» глава книги, по свидетельству монаха Факинеи.

§ XXXVII и XXXVIII «Покушения, сообщники, безнаказанность» и «Наводящие вопросы; показания» являются дополнениями третьего издания. Почему второй из них не был поставлен на более подходящее место — остается невыясненным.

После того как Беккариа высказался наконец о «воображаемых» преступлениях, из-за которых «Европа была залита кровью», мысль его плавно течет дальше. Главой «Ложные понятия о пользе» (§ XL) прекрасно дополняется параграф «Об особом роде преступлений».

Книга приближается к естественному концу. «Лучше предупреждать преступления, чем наказывать. В этом главная цель всякого хорошего законодательства». Вопросам предупреждения преступлений и посвящены § XLI—XLV («Как предупреждать преступления», «О науках», «Власти», «Награды», «Воспитание»)¹.

Книга заканчивается кратким заключением. В нем дается вывод, «общая теорема». Но она касается не всех вопросов, о которых говорил Беккариа, а только «свойств», которыми должно обладать наказание.

В 1809 г. в Венеции была издана Паролетти книга Беккариа в порядке, принятом в пятом издании (1766). «Нам казалось, — писал Паролет-

ти, — что эта первая связь идей значительно лучше выявляет величественное шествие творческого гения знаменитого итальянского философа» (Амати).

Мы видели, что не всегда это «шествие» было непрерывным, восходящим. Бывали дни и недели, когда Беккариа бросал перо в сторону. Но однажды пробужденная мысль продолжала работать. Наступал прилив творчества, и Беккариа вновь принимался за перо.

Мы не раз отмечали «отклонения» Беккариа от непосредственной темы. Но это не порок, а достоинство его книги. Он писал ее не как узкий юрист, а как философ и мыслитель, увлекаемый к тому же «жаром чувств». Поэтому содержание его книги не исчерпывается ее заглавием. Поэтому попытка Морелле установить «более естественный», как ему казалось, порядок не могла быть ничем иным, как искажением подлинного Беккариа.

¹ § XLVI «О помиловании» появился в четвертом издании (Морелле).

ГЛАВА XII

Язык книги

С момента выхода в свет книги «О преступлениях и наказаниях» внимание и друзей, и врагов Беккариа было привлечено особенностями языка ее, особенностями формы изложения.

Сам Беккариа в обращении «К тому, кто читает» писал, что он говорил в своей книге языком, «отдаляющим от нее непросвещенное и нетерпеливое простонародье». Это должно было в глазах «снисходительного и просвещенного правительства» служить, по мнению Беккариа, доказательством, что сочинение его отнюдь не является мятежным, бунтовщическим.

Слова Беккариа невольно вспоминаются при чтении «повинной» Радищева, написанной им в каземате Петропавловской крепости в 1790 г., когда он был арестован и предан суду Екатериной за «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Если кто скажет, что я писал сию книгу, хотел сделать возмущение, тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг не читает, что писана она слогом, для простого народа невнятным...»

Беккариа сам признавался, что он «прикрывает свет облаками». Но он писал в XVIII в., когда в борьбе с абсолютизмом, с католической церковью писатели и публицисты-«просветители» прибегали к намекам, полунамекам, к «фигурам умолчания». Они рассчитывали с полным основанием, что «рассудительные люди» поймут, «что ни... место, ни время, ни предмет не позволяют ему, — как писал Беккариа в главе «Об особом роде преступления», — исследовать природу этого преступления». И если в другом месте Беккариа говорил: «Я не буду вдаваться в подробности и указывать условия, которых требуют подобные учреждения (речь шла о том, что суды должны быть публичны). Ничего я не мог бы сказать, если бы нужно было сказать все», — то «просвещенные читатели» отлично понимали, что «всего сказать» нельзя было и в других главах книги.

Для «скромных и мирных последователей разума» было вполне понятно, что имел в виду Беккариа, когда «бесполезную жестокость» он называл «орудием злости и фанатизма слабых тиранов», или когда наряду с «тиранией» он упоминал о «столь же беспощадном невежестве» или же говорил о «неумолимом суеверии». Если в этих случаях разумелась католическая церковь и духовенство, то нетрудно было видеть в «послушном невежестве», в «фанатической толпе слепых», в «слепом невежестве» народные массы, одурманенные религией.

Беккариа не мог открыто сказать, что бессмысленно преследовать за ересь, богохульство, волшебство. Вместо этого он говорил о «невозможных преступлениях, созданных трусливым невежеством», о «недоказанных или химерических преступлениях» и т.п.

Но этот язык понимали и враги «просветителей», понимали они и тонкую иронию, к которой иногда прибегал Беккариа, «затемняя свет облаками».

В той же главе «Об особом роде преступления» Беккариа пишет: «Выходило бы за пределы моего труда и было бы слишком долго доказывать, что... мнения, отличающиеся между собой только тончайшими, неясными, слишком далекими для человеческого понимания чертами, могут тем не менее потрясти общественное благополучие, если одному из них не будет отдано предпочтение... Слишком долго было бы доказывать, что “природа мнений” такова, что некоторые из них были бы побеждены, если бы не были облечены “авторитетом и силой”».

Приведя этот отрывок, Факинеи замечает, что «эти слова кажутся темными, но они имеют достаточно ясный смысл, и вся их темнота является намеренной и показной». И тут же «переводит», показывает, как надо понимать это место.

«Слишком долго было бы доказывать, что, подвергшись исследованию, догматы христианской религии оказались бы частью истинными, а частью ложными. Отсюда следует, что некоторые из этих учений, несмотря на то, что они ложны и нелепы и не имеют никаких других заслуг, кроме тех, что упорные католики считают их хорошими, поддерживаются самими католиками вплоть до уничтожения тех, кто захотел бы их отрицать».

Все сочинение Беккариа проникнуто верой в человеческий разум, и, конечно, ни один «просвещенный» читатель XVIII в. не думал, что автор книги «О преступлениях и наказаниях» действительно верит в «непогрешимый догмат», который «учит нас, что грехи, порожденные человеческой слабостью, но не заслуживающие вечного гнева высшего существа, должны быть очищены непостижимым огнем чистилища». Ведь это говорится в главе о попытке, где одно из оснований ее применения — «очищение от бесчестья» — объявляется «нелепым» и где Беккариа тут же обобщает, что «даже нелепости, усвоенные нацией», всегда имеют некоторую связь с религиозными идеями благодаря тому, что «люди злоупотребляют надежнейшим светом божественного откровения».

Недаром Факинеи называет иронию, к которой прибегал Беккариа, «самой наглой».

Зарудному казалось, что если в главе «О преступлениях особого рода» не заменить в переводе слово «мнения» словом «верования», то текст будет непонятным. Впрочем, и с такой заменой он так и не понял текста до конца.

Екатерина не читала Факинеи. Она не могла с ним познакомиться и по «Ответу», потому что последний не был переведен Морелле. Но она прекрасно разобралась во взглядах Беккариа на религию. Она попросту игнорировала их в своем «Наказе».

Умный старик Таганцев, останавливаясь в своих «Лекциях» на переводе Зарудного, в котором «Наказ» сопоставляется с соответствующими местами из книги Беккариа, ядовито заметил, что «несравненно интереснее был бы критический анализ не того, что заимствовано “Наказом”, а того, что при этом заимствовании не взято составительницей “Наказа”» (т. I, 1902, с. 203).

Буржуазия, пришедшая к власти, не была заинтересована в том, чтобы подрывать «религию». Наоборот. Поэтому борьба Беккариа с религией замалчивалась или дело представлялось так, что зло, против которого выступал Беккариа, в настоящее время более уже не существует. Так, Эли снабдил главу «Об особом роде преступлений» кратким замечанием, что «преступления, оскорбляющие божественное величество, к которым причислялись ересь, богохульство, кощунство, волшебство и магия, перестали считаться, по крайней мере во Франции, наказуемыми деяниями». Как будто бы Беккариа не возмущался тем, что религия вообще опирается на принуждение силой!

В XIX в. устанавливается взгляд на Беккариа «только» как на криминалиста. К тому же переводчики, по крайней мере такие, как Зарудный и Беликов, не постарались даже вникнуть в «социально-политический» язык XVIII в. и в язык самого Беккариа.

Взгляд на Беккариа исключительно как на криминалиста приводит к недооценке его как мыслителя и как публициста. Для своих современников Беккариа говорил не только о недостатках «уголовной системы». Вся его книга пронизана свободолобивыми взглядами, да и вопросы «уголовной системы» исследуются не сами по себе, а всегда в определенном политическом освещении. Ведь это и придавало его сочинению особый боевой характер. Недаром Факинеи, Жуссы и Вугланы усматривали в книге Беккариа проповедь, направленную и против «земных властей», недаром и Екатерина в политических доктринах своего «Наказа» предпочла следовать умеренному Монтескье, а политическую окраску положений Беккариа вытравила или исказила.

Но чтобы увидеть все это, надо понимать язык книги «О преступлениях и наказаниях». Гримм сразу отметил уменье Беккариа с изумительной тонкостью и легкостью касаться «щекотливых» вопросов. «Он обладает, — писал Гримм, — огромным искусством заставлять звучать известные струны так, что не видишь, как он их касается» (VI).

Так, «мельком» Беккариа коснулся права собственности, «ужасного и, может быть, не необходимого права», как он заметил в скобках. Французский буржуазный криминалист Эли в своих комментариях на § XXII «Кражи» советует не останавливаться «на атаке, которую Беккариа принял мимоходом, в скобках, против права собственности». «Мысль Беккариа становится, — замечает Эли, — менее уверенной, и его превосходный здравый смысл, по-видимому, изменяет ему, как только он удаляется от своего предмета», т.е. от вопросов уголовного права. Если же «выбросить эти слова», то взгляды, высказываемые Беккариа в этой главе, являются, по мнению Эли, беспспорными.

Кантú это высказывание Беккариа так взволновало, что он проверил по рукописи и установил, что в ней и в первых двух изданиях стояло «ужасное, но необходимое право собственности». Этим только и можно объяснить, что Факинеи не отозвался на замечание Беккариа, хотя он и без того записал его в «секту социалистов».

Кантú, впрочем, считает возможным снисходительно отнестись к Беккариа, указывая, что нельзя сравнивать с фальшивомонетчиком того, кто использует фальшивую монету, не ведая, что она фальшивая.

Также «мимоходом» останавливается Беккариа и на дворянстве. В главе «Наказания для дворян» он говорит, что не станет останавливаться на вопросах, полезно ли оно вообще при каком-либо образе правления, действительно ли оно сдерживает крайние власти или же оно только «цветущий оазис» среди обширных пустынь Аравии. Он как бы предлагает самому читателю разрешить все эти вопросы. Но ведь этим вопросом предшествует заявление, что привилегии дворян составляют значительную часть законов различных наций! И в других местах книги высказывается не раз жестокая критика этих дворянских привилегий, на что указывалось нами еще в первой главе.

«Мимоходом» высказывается, например, Беккариа в главе «О духе семейственном», что «слишком обширная республика может спастись от деспотизма, только разделившись на несколько объединенных в один союз федеративных республик».

В XVIII в. слово «республика» употреблялось и в смысле «государство», и у Беккариа в этом смысле оно встречается не раз. Но в данном случае оно звучит уже совсем по-«республикански». Вообще в его книге прямого высказывания о том, какая форма правления лучше — монархическая или республиканская, мы не найдем. Беккариа, несомненно, искренне писал в главе «О смертной казни» о «восседающих на престолах Европы благодетельных монархах, покровительствующих мирным добродетелям, наукам и искусствам, отцах своих народов». Но тут же он называет их «увенчанными гражданами».

При социально-политических условиях Милана, когда реформы шли сверху, от австрийских «просвещенных» правителей, встречая противодействие миланского консервативного патрициата, вполне понятно, что Беккариа мог искренне желать «усиления власти» этих правителей.

Вспомним, однако, что и такие крупнейшие просветители, как Вольтер и Дидро, находились в дружеской переписке с «философами на троне» — Екатериной II и Фридрихом II Прусским.

Но, не говоря уже о теории общественного договора, согласно которой «верховная власть нации составила из суммы всех частиц свободы, пожертвованных (людьми) на общее благо» (§ I «Происхождение наказания»), революционизирующую направленность книге Беккариа придает ее общий тон.

«Жестокость, — провозглашает Беккариа, — была бы не только далека от плодотворных добродетелей, порождаемых просвещенным разумом, предпочитающим властвовать над свободными людьми, а не над стадом

рабов, самая запуганность которых постоянно сочетается с жестокостью, — но была бы далека и от справедливости, и от природы самого общественного договора» (§ III). Отношения человека к человеку являются «отношениями равенства» (§ VII). «Мнение, что каждый гражданин вправе делать все, что не противно законам... является политическим догматом... Это священный догмат, без которого не может существовать законное общество, справедливое вознаграждение — за принесенную в жертву свободу по отношению ко всей природе, присущую всем существам, одаренным чувствами...» (§ VIII).

«Афоризмы» такого характера щедро рассыпаны по всей книге. В редкой главе не говорится также о «тиране», «тирании», «деспоте» или «деспотизме».

В просветительной литературе XVIII в. такие слова, как «тирания», имели совершенно определенное, революционное содержание. Против «тирании» призывает и Марсельеза. Совершенно неправильно такого рода «иностранные термины» переводить, как это делает Зарудный, «русскими словами». Он считает, что такое слово, как «тирания», «приходится часто передавать русскими словами “гнет”, “насилие”, “самоволие” и даже просто “сила”, и противопоставлять их слову “самодержавие”, хотя бы для того только, чтобы показать, — добавляет Зарудный, — преимуществу (!?) последнего над первыми».

Это не углубление в смысл слов автора, а более верная передача его мысли, как думает Зарудный, а извращение ее, политическое снижение общего тона книги. Так, искажение формы влечет за собой и искажение самого содержания.

Такое же снижение тона получается, когда так часто употребляемое в книге Беккариа слово «суверен» (*sovrano*) переводится Зарудным и Беликовым словом «государь». Когда-то в русской литературе Новгород Великий назывался «государем». Друг Радищева Ушаков в своем «Размышлении о праве наказания и о смертной казни» писал, что «состав каждого правления требует государя или вождя, который бывает нераздельною или соборной особою»¹. Но в XIX в. под «государем» понимался только единоличный глава государства. У Беккариа же, как у Руссо в его «Общественном договоре», понятие «суверен» употребляется, за ничтожными исключениями, в смысле «соборной особы». Во всяком случае так представлялось читателям понимать это слово. Тем более что иногда Беккариа определенно говорит о «монархе», в единичных случаях о «государе» (*principe*) и о «царях» (*re*).

При чтении книги Беккариа не может не броситься в глаза, что автор часто прибегает к «математическому» языку, говоря, например, что «величина государства должна быть в обратном отношении к восприимчивости граждан» и т.п. Очень часто сравнения берутся из области физики и даже астрономии.

Мы знаем, что Беккариа еще в колледже проявлял большую любовь к математическим наукам. Но не только этим объяснялось такое своеобразие языка книги.

Беккариа исходил из представления о единстве природы. «Проявлению как физических, так и моральных действий поставлены, — писал он, — подобно всем движениям природы, пределы, различно обусловленные и временем, и пространством». Беккариа хотел говорить языком материалистов XVIII в. Он понимал, конечно, что «правила геометрии» не могут быть приложены полностью к общественным явлениям — «в политической арифметике приходится математическую точность заменять вычислением вероятности», но все же таким вычислением, а не какой-нибудь богословской теорией. Идеалом остается математическая точность. «Если бы геометрия была приложима к бесчисленным и неясным сочетаниям человеческих поступков, то должна была бы существовать и соответствующая лестница наказаний, от наиболее тяжкого до наиболее легкого». Такие вопросы, как смертная казнь, пытка, предупреждение преступлений и другие, по мнению Беккариа, «заслуживали бы геометрически точного решения, перед которым были бы бессильны все туманные софизмы, соблазняющее красноречие и боязливое сомнение».

Философия XVII и XVIII вв. была тесно связана с изучением математических и физических наук. Имея в виду «просвещенных» читателей, Беккариа вполне мог рассчитывать на знания их и в этой области. Сравнения, уподобления, которые он черпал из этих наук, должны были придать еще большую научную убедительность его идеям, не говоря уже о том, что они придавали выпуклость и красочность их изложению. Сила, заставляющая нас стремиться к личному благополучию, у Беккариа уподобляется тяжести. «Печальное положение человеческого ума, — восклицает Беккариа, — менее важные представления о круговращении отдаленнейших небесных тел для него более ясны, чем близкие и самые важные нравственные понятия...» И тут же добавляет, что «это не покажется удивительным, если вспомним, что предметы, слишком приближенные к глазам, кажутся неясными. Нравственные идеи слишком близко касаются нас!»

Нам должно быть вполне понятно, что Беккариа не мог последовать совету Даламбера — отказаться от «математического» языка. Как мог он это сделать, когда одно из самых основных положений его заключалось в требовании соразмерности, пропорциональности наказания с преступлением?

Нельзя поэтому, переводя книгу Беккариа, «исправлять» ее язык самому, придерживаясь совета Даламбера, как это допускает иногда Беликов.

На языке книги отразились философские воззрения Беккариа. Буржуазные криминалисты как раз меньше всего интересовались ими. Эли заявлял прямо, что он оставляет в стороне «чисто философские положения Беккариа, наполняющие несколько страниц его книги и представ-

¹ Написано Ушаковым на французском языке в бытность его в Лейпциге студентом, переведено Радищевым и опубликовано в 1789 г. Перепечатано в сборнике «XVIII век» (кн. 2-я, 1869, изд. Бартенева).

ляющие для нас лишь посредственный интерес». (Вводная статья, XVIII.) Почти в то же время известный русский криминалист профессор Кистяковский в статье «Влияние Беккариа на русское уголовное право»¹ писал, что «часть сочинения его, говорящая об отдельных предметах уголовного права и судопроизводства, лучше и неизмеримо для нас важнее философской».

Такой искусственный отрыв философских взглядов Беккариа от уголовно-правовых, незнание и непонимание философии XVII и XVIII вв. вообще и привело к тому, что если Беккариа говорит о «материи», то в погоне за чистотой русского языка Зарудный это слово переводит словом «вещи», а Беликов — словом «вещество».


Но и от таких криминалистов, как Эли, не укрылось, что успехом своим книга Беккариа в значительной мере обязана форме, в которой были изложены его идеи. Вместо того чтобы спорить, Беккариа ясно и кратко излагает свои принципы; «вместо правовых тезисов, недоступных для большей части публики, ряд смелых предложений, бросающих луч света на то, что до тех пор пребывало во мраке». Кант замечает, что Беккариа целые фолианты излагает в нескольких словах.

Убеденность Беккариа в правоте своих идей, выраженная к тому же в сжатой, афористической форме, увеличивала убедительность их. Эти идеи высказывались как истины, которые нечего доказывать, достаточно их увидеть и понять. В самом начале своего сочинения, во «Введении», Беккариа заявляет, что он говорит «о самых очевидных истинах», которые «именно вследствие своей простоты... ускользают от невежественных умов...» «Ни один человек не пожертвовал частью своей свободы единственно ради общего блага — подобные химеры существуют только в романах», — пишет он в другом месте. «Всякий разумный человек, т.е. всякий, кто обладает способностью связно мыслить и такими же чувствами, как у других людей, может быть свидетелем». Достаточно было Беккариа указать на эту истину и сделать из нее соответствующие выводы, чтобы взорвать всю средневековую теорию «формальных доказательств».


Гримм в свое время редал, к.ко. впечатлени произвела на него книга Беккариа. «Все, что он говорит, — писал Гримм, — представляется вам столь истинным, столь соответствующим и здравому смыслу, и разуму, что вам кажется, что вы читаете ваши собственные собрание общепризнанных истин» (т. VI).

Сила книги Беккариа заключалась и в глубочайшем его убеждении, что он защищает интересы всего человечества.


Профессор
М.М. ИСАЕВ



ЧЕЗАРЕ БЕККАРИА



О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ и НАКАЗАНИЯХ



ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ*

Заново исправленное и увеличенное

В делах наиболее трудных нельзя ожидать, чтобы кто-нибудь сразу и сеял и жал, а надо позаботиться, чтобы они постепенно созрели. Бэкон. Искренние речи, XI.V.



ГАРЛЕМ

MDCCLXVI.

¹ Журнал министерства юстиции. 1864. № 9.

* 1776 г.

К ТОМУ, КТО ЧИТАЕТ

Обрывки законов древнего народа-завоевателя, собранные повелением государя, царствовавшего в Константинополе двенадцать веков тому назад, перемешанные впоследствии с обычаями лонгобардов и скрытые в груди фолиантов, наполненных запутанными толкованиями частных лиц, составляют собрание преданий, в значительной части Европы именуемых, однако, законами. И поныне всюду — как это ни печально — мнение Карпцовиуса, древний обычай, отмеченный Кларусом, род пытки, подсказанный со злобной угодливостью Фаринацием, считаются законами, хладнокровно применяемыми теми, кто должен был бы с трепетом решать о жизни и судьбе людей. Эти законы — наследие самых варварских веков и рассматриваются в настоящей книге, насколько они составляют уголовную систему. Недостатки их я осмеливаюсь изложить перед теми, от кого зависит общественное счастье, языком, отдаляющим от нее непросвещенное и нетерпеливое простонародье. Откровенное изыскание истины и независимость от принятых мнений, с которой написан этот труд, возможны лишь при снисходительном и просвещенном правительстве, под властью которого живет автор. Великие монархи, благодетели человечества, правящие нами, любят истину, высказываемые скромным философом с силой, но без фанатизма, свойственного тем, кто неразумно готов прибегать к насилию или обману. И каждый, вникнув в суть описываемых не порядков, поймет, что указание на них — укор и насмешка не над нынешним веком и его законодателями, а над прошедшими временами.

Желающий почтить меня своей критикой должен поэтому прежде всего хорошо понять цель, с которой написана эта работа: цель ее — не ослабить, а усилить законную власть, если только убеждение неотразимее действует на душу, чем насилие, и если это убеждение в глазах всех оправдано своей умеренностью и человечностью. Смысл моего сочинения был с дурными намерениями искажен появившейся в печати критикой. Это заставляет меня прервать на время рассуждения, обращенные к просвещенным читателям, чтобы раз и навсегда закрыть всякий доступ заблуждениям, вызванным трусливым усердием, и клевете, порожденной злобной завистью.

Существуют три источника нравственных и политических начал, управляющих людьми: божественное откровение, естественные законы и добровольные общественные соглашения. По своей основной цели первый источник отличается от других, но сход-

ство заключается в том, что все они ведут к достижению счастья в этой земной жизни. Рассматривать отношения, возникающие из общественных соглашений, — не значит еще отвергать отношения, вытекающие из первых двух источников. Но даже представления об откровении и естественном законе, несмотря на их божественность и неизменность, искажались тысячи раз по вине людей ложными религиями и произвольными понятиями развращенных умов о пороке и добродетели. Поэтому необходимо независимо от всяких других соображений рассмотреть последствия, вытекающие только из общественных соглашений, или прямо заключенных, или же подразумеваемых по необходимости и в интересах общей пользы. Любая секта и любая нравственная система должны признать необходимость такого исследования; всегда будет достойна похвалы попытка заставить даже самых упорных и самых неверующих сообразоваться с началами, побуждающими людей жить в обществе. Существуют, следовательно, три различных рода добродетелей и пороков: религиозный, естественный и политический. Эти три рода никогда не должны находиться в противоречии между собой; но не все последствия и обязанности, вытекающие из одного рода, могут быть выведены из остальных. Не все, чего требует божественное откровение, требуется и естественным законом, и не все, что требует последний, требуется и общественным чисто законом. Но чрезвычайно важно выделить то, что следует из этого общественного соглашения, т.е. из заключенных или подразумеваемых людских договоров, потому что они составляют пределы той власти, которая по праву может действовать между людьми, без особого поручения высшего существа. Таким образом, идею политической добродетели, не умаляя ее значения, можно считать изменчивой; идея добродетели естественной была бы всегда ясной и очевидной, если бы она не затемнялась людским невежеством и страстями; идея добродетели религиозной, возведенная и охраненная самим Богом, всегда остается единой и неизменной.

Следовательно, было бы ошибкой приписывать говорящему об общественных соглашениях и об их последствиях начала, противоречащие естественному закону или божественному откровению, на том основании, что он ничего не говорит о них. Было бы ошибкой утверждать, что говорящий о состоянии войны, предшествовавшем образованию общества, понимает это состояние, как и Гоббс, т.е. вместо того, чтобы рассматривать это состояние как порожденное порчей человеческой природы и отсутствием каких бы то ни было положительных законов, полагает, что тогда не существовало ни долга, ни обязанностей. Было бы ошибкой обвинять писателя, изучающего последствия общественного договора, в том, что он не допускает наличия их до заключения самого договора.

Справедливость божественная и справедливость естественная по сущности своей неизменны и постоянны, потому что отноше-

ние между одними и теми же предметами всегда одно и то же. Напротив, справедливость человеческая или, что то же, политическая, будучи не чем иным, как отношением между тем или другим действием и меняющимся состоянием общества, может изменяться в зависимости от того, насколько это действие становится необходимым или полезным для общества. Нельзя правильно познать ее без изучения сложных и чрезвычайно изменчивых отношений гражданского бытия. Нельзя правильно рассуждать о политических вопросах, если будут смешаны эти существенно различные начала. Пусть богослов устанавливает границу между справедливым и несправедливым в смысле внутреннего зла или добра того или другого действия; установить границы справедливого или несправедливого в смысле политическом, т.е. с точки зрения пользы или вреда для общества, — задача публициста. Одна задача не предвещает другую, потому что каждому ясно, насколько добродетель политическая уступает неизменной, исходящей от Бога, добродетели.

Кто, повторяю, желал бы почтить меня своей критикой, не должен прежде всего приписывать мне начал, разрушающих добродетель или религию, так как я показал, что это не мои начала. И вместо того чтобы изображать меня неверующим или бунтовщиком, пусть лучше докажет, что я плохой мыслитель или недалекий политик; ему нечего впадать в страх от любого предложения, выдвигаемого в интересах человечества; пусть он убедит меня в бесполезности или в политической опасности высказанных мною начал; пусть он докажет мне преимущества принятых порядков. Я публично засвидетельствовал свою религиозность и покорность моему суверену ответом на заметки и замечания. Было бы излишне отвечать на последующие подобные же писания. Но каждый, кто будет писать с пристойностью, подобающей честным людям, и со знанием, которое избавит меня от доказывания первоначал, какового бы характера они ни были, найдет во мне скорее мирно настроенного любителя истины, чем человека, стремящегося во что бы то ни стало ответить.

*Все включенное между этим знаком * является первыми дополнениями, а включенное между другим знаком ** — вторыми дополнениями.*

ВВЕДЕНИЕ

Люди почти всегда предоставляют установление важнейших правил или обыденному рассудку, или усмотрению тех, в чьих интересах противиться введению наиболее мудрых законов, т.е. таких, которые по своей природе распространяют благоденствие на всех и не допускают, чтобы оно стало достоянием немногих, когда на одной стороне все могущество и счастье, а на другой — лишь одно бессилие и нищета. Вот почему, только пройдя через тысячи заблуждений в наиболее важных для жизни и свободы вопросах, только истомившись от страданий, достигших крайних пределов, люди берутся за устранение угнетающих их не порядков и начинают понимать самые очевидные истины. Именно вследствие своей простоты эти истины ускользают от невежественных умов, не привыкших рассматривать предметы в отдельности и воспринимающих все впечатления сразу, полагаясь больше на общепринятые мнения, дошедшие по преданию, чем на собственное уразумение.

Откроем историю — и мы увидим, что законы, которые все же являются или должны являться договорами свободных людей, почти всегда служат только орудием страстей незначительного меньшинства или же порождаются случайной и мимолетной необходимостью. Нигде еще законы не написаны бесстрастным исследователем человеческой природы, который направил бы деятельность людской массы к единой цели и постоянно имел бы ее в виду, а именно — возможно большее счастье для возможно большего числа людей. Счастливы те немногие нации, которые не дожидались, чтобы медленный ход событий и перемен во взаимоотношениях людей начал пробивать путь к лучшему, лишь после того как бедствия достигли крайних пределов, но ускоряли этот переход мудрыми законами; и заслуживает признательности людей тот философ, который из своего скромного и уединенного кабинета осмелился бросить в массы первые, долго не всходившие семена полезных истин.

В наше время познаны истинные отношения, связывающие как суверена и подданных, так и различные нации между собой; сношения оживились под влиянием философических истин, ставших благодаря книгопечатанию общим достоянием; между нациями ведется молчаливая война трудолюбия, самая гуманная и наиболее достойная разумных людей. Таковы плоды, принесенные нашим просвещенным веком. Но только совсем немногие заметили и осудили жестокость наказаний и беспорядочность уголовного судопроизводства — эту столь важную и столь заброшенную во всей почти Европе часть законодательства; только совсем немногие, восходя до общих начал, рассеивали заблуждения, сдерживая хотя бы одной только силой познанных истин слишком широкий

произвол власти, которая до сих пор подавала длительный и властный пример холодной жестокости. А между тем стоны слабых, приносимых в жертву свирепому невежеству и изнеженному богатству, варварские истязания, расточаемые с бесполезной жестокостью за преступления, недоказанные или воображаемые, мрак и ужас темниц, усиленный неизвестностью — этим наиболее жестким палачом несчастных, — должны были бы, казалось, потрясти тот род магистратов, которые руководят общественным мнением.

Бессмертный президент Монтескье только бегло коснулся этого предмета. Истина всегда едина, она-то и заставила меня пойти по светлым следам этого великого человека; но мыслящие люди, для которых я пишу, сумеют отличить его шаги от моих. Я был бы счастлив, если бы мог, как и он, заслужить признательность скромных и мирных последователей разума и вызвать тот сладостный трепет, с которым чувствительные сердца откликаются на призыв защитника интересов человечества.

§ I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Законы являются условиями, на которых люди, до того независимые и жившие в одиночку, объединились в общество, утомившись от постоянной войны и свободы, бесполезной, потому что необеспеченной. Они пожертвовали лишь долей своей свободы, чтобы зато спокойно и в безопасности наслаждаться остальной ее частью. Из суммы всех частиц свободы, пожертвованных на общее благо, составила верховная власть нации, и суверен стал законным их хранителем и управителем. Но недостаточно было создать такое хранилище свобод, нужно было охранить его от расхищения, так как каждый стремился не только взять обратно свою часть, но и захватить доли других. Потребовались чувственные побуждения, которые могли бы остановить деспотические устремления людей к ниспровержению законов общества и к возвращению первобытного хаоса. Этими чувственными побуждениями и являются наказания, установленные против нарушителей законов. Говорю «чувственные побуждения», потому что, как показал опыт, массы не могут усвоить твердых правил поведения и избежать действия всемирного начала разложения, проявляющегося как в мире физическом, так и моральном иначе как при помощи побуждений, которые, непосредственно поражая чувства и длительно запечатлеваясь в уме, уравнивают силу впечатлений, порождаемых той или другой страстью, противоборствующей общему благу. Ни доводы разума, ни красноречие, ни даже величайшие истины не в

силах надолго удержать от взрыва страсти, возбужденные живыми впечатлениями окружающего мира.

§ II ПРАВО НАКАЗАНИЯ

Всякое наказание, не вытекающее из абсолютной необходимости, является, как говорит великий Монтескье, тираническим. Это положение может быть выражено более общим образом: всякое проявление власти человека над человеком, не вытекающее из абсолютной необходимости, является тираническим. Таким образом, вот на чем основывается право суверена карать за преступления: на необходимости защищать хранилище общего блага от посягательств отдельных лиц. И чем более священна и неприкосновенна безопасность, чем больше свободы сохраняет суверен за подданными, тем справедливее наказание. Заглянем в сердце человеческое — в нем мы найдем те начала, на которых зиждется истинное право суверена наказывать за преступления, так как моральная политика только тогда может принести длительную пользу, если она будет основана на неизменных чувствах человека. Всякий закон, уклоняющийся от этого начала, всегда натолкнется на противодействие, которое в конце концов и одержит над ним верх. Так, самая малая, но постоянно действующая в каком-либо теле сила преодолевает наибольшее движение, извне сообщенное этому телу.

Ни один человек не пожертвовал частью своей свободы единственно ради общего блага — подобные химеры существуют только в романах. Напротив, всякий из нас желал бы, если бы это только было возможно, чтобы договоры связывали других, но не нас; всякий видит в себе центр земных отношений.

* Размножение рода человеческого, незначительное само по себе, но слишком превышающее те средства, которыми скудная и невоспроизводимая природа могла удовлетворить возрастающие потребности, объединило первых дикарей. В целях противодействия первым объединениям, по необходимости, образовались и другие, и, таким образом, в состоянии войны стали находиться уже не отдельные лица, а нации.*

Следовательно, только одна необходимость заставила людей уступить часть своей собственной свободы; отсюда очевидно, что всякий желал отдать в общее хранилище возможно меньшую долю ее — ровно столько, сколько требовалось, чтобы обязать других оказывать ему защиту. Совокупность этих самых малых частей свободы образует право наказания. Все, что сверх этого, — злоупотребление, а не правосудие, факт, но не право. Заметьте, что слово «право» не противоположно слову «сила», первое является скорее

видоизменением второго, а именно видоизменением, наиболее полезным большинству. Под справедливостью я понимаю не что иное, как связь, необходимую для объединения частных интересов, без которой восстановилось бы прежнее внеобщественное состояние. Всякое наказание, не вызываемое необходимостью сохранить эту связь, несправедливо по своей природе. Не нужно связывать далее со словом «справедливость» идею о чем-то вещественном — вроде физической силы или какого-то существа. Справедливость — это просто понятие, но имеющее бесконечное влияние на счастье всех людей. Я не говорю здесь о той справедливости, которая исходит от Бога и относится непосредственно к наказаниям и наградам в будущей жизни.

§ III ВЫВОДЫ

Первым выводом из указанных начал является положение, что только законы могут устанавливать наказания за преступления и что власть их издания может принадлежать только законодателю как представителю всего общества, объединенного общественным договором. Никакой судья (являющийся только частью общества) не может, не нарушая справедливости, устанавливать наказания для других членов общества. Несправедливо и наказание, выходящее за пределы закона, так как оно явилось бы другим наказанием, не установленным законом. Поэтому ни под каким предлогом и ни по каким соображениям общественного блага судья не может повысить наказание, установленное законом за преступления.

Второй вывод. Если каждый член общества связан с ним, то равным образом и общество связано с каждым из своих членов посредством договора, по самой своей природе налагающего обязательство на обе стороны. Наличие этого обязательства, связывающего одинаково и дворец и хижину, и самого знатного и самого убогого, доказывает, что в интересах всех соблюдать договоры, полезные для большинства. Нарушение хотя бы одного из них повело бы к утверждению анархии¹. Как представитель всего общества, суверен может издавать только общие законы, обязывающие всех, но не может сам судить, нарушил ли кто общественный договор или нет, так как в таком случае нация разделилась бы на две части. Одна, представленная сувереном, стала бы утверждать, что

¹ Слово «обязательство» является одним из тех, которое чаще употребляется в моральных, чем в других науках, и является сокращенным обозначением не какой-либо идеи, а... умозаключения. Попробуйте отыскать идею в слове «обязательство», вы не найдете ее; сделайте умозаключение — и вы сами поймете и будете поняты.

договор нарушен, а другая — обвиняемый — отрицала бы это. Поэтому необходимо, чтобы кто-либо третий рассудил их, необходимо судья, приговоры которого не подлежали бы обжалованию и заключались бы в простом утверждении или отрицании отдельных фактов.

Третий вывод. Пусть будет доказано, что жестокость наказаний не противоречит непосредственно общему благу и не мешает предупреждению преступлений, но что она только бесполезна. И в таком случае эта жестокость была бы не только далека от плодотворных добродетелей, порождаемых просвещенным разумом, предпочитающим властвовать над свободными людьми, а не над стадом рабов, самая запуганность которых постоянно сочетается с жестокостью, но была бы далека и от справедливости, и от природы самого общественного договора.

§ IV

ТОЛКОВАНИЕ ЗАКОНОВ

Четвертый вывод. Власть толковать уголовные законы не может принадлежать судьям по одному тому, что они не законодатели. Законы не перешли к судьям от наших предков в качестве семейного предания или завещания, предоставляющего потомкам одну заботу — повиноваться. Судьи получают их от живого общества или от суверена как его представителя, как хранителя наличной общей воли. Законы получены судьями не как обязательства, вытекающие из древнего соглашения. Такое соглашение, связывающая несуществующие воли, было бы недействительно, низводя людей от общественного состояния к состоянию стада, оно было бы несправедливо. Законы получены как следствие молчаливого или явного общего соглашения живущих подданных с сувереном, как узы, необходимые, чтобы сдерживать и подавлять столкновения частных интересов. Вот на чем покоится физическая и действительная сила законов. Кто же является законным их истолкователем? Суверен, т.е. хранитель наличной воли всех, или же судья, должность которого состоит только в том, чтобы исследовать: совершил ли тот или другой человек деяние, противное законам, или не совершил?

По поводу каждого преступления судья должен построить правильное умозаключение. Большая посылка — общий закон, малая — деяние, противное или согласное с законом; заключение — свобода или наказание. Если судья по принуждению или по своей воле сделает вместо одного хотя бы только два умозаключения, то ни в чем нельзя быть уверенным.

Нет ничего опаснее общепринятой аксиомы, что следует руководствоваться духом закона. Это все равно что уничтожить плотину, сдерживающую бурный поток произвольных мнений. Для меня эта истина представляется доказанной. Умам обыденным, которых мелкие затруднения настоящей минуты поражают более, чем гибельные, но отдаленные последствия ложного начала, укоренившиеся в нации, она представляется парадоксом. Все наши знания, все наши идеи связаны между собой, и чем более они сложны, тем больше путей к ним и от них. У каждого человека своя точка зрения, у каждого в разное время она различна. Дух закона зависел бы, следовательно, от хорошей или дурной логики судьи, от хорошего или дурного его пищеварения, он зависел бы от силы его страстей, от его слабостей, от его отношения к потерпевшему и от всех малейших причин, изменяющих в непостоянном уме человека образ каждого предмета. Вот почему судьба гражданина решается неодинаково при прохождении дела через различные суды, а жизнь несчастных становится жертвой ложных умозаключений или минутных настроений судьи, принимающего за справедливое толкование шаткий вывод из смутных представлений, волновавших его ум. Вот почему один и тот же суд за одни и те же преступления в различное время назначает различные наказания: он не руководствуется словом закона, точным и неизменным, а допускает обманчивое непостоянство толкований.

Невыгоды от строгого соблюдения буквы уголовного закона незначительны по сравнению с невыгодами, порождаемыми его толкованием. Неясные слова закона необходимо исправить, но это можно сделать легко и быстро. Зато строгое соблюдение буквы закона не допускает роковой свободы рассуждений, порождающих произвольные и корыстные споры. Когда Уложение содержит законы, подлежащие буквальному применению, и возлагает на суд единственно обязанность разобрать действия граждан и решить, соответствуют они писаному закону или нет, когда правила о том, что справедливо и что несправедливо, чем должны руководствоваться все граждане — от самого непросвещенного до философа, — являются бесспорными, тогда подданные будут избавлены от мелкой тирании многих, тем более жестокой, чем ближе она к угнетаемому, тем более ужасной, что на смену ей может прийти лишь тирания одного, а жестокость одного деспота пропорциональна не силе его, а противодействию, которое он встречает. Тогда граждане обретут личную безопасность, что является справедливым, потому что ради этого люди соединились в общество, и полезным, потому что каждый может точно подсчитать неприятные последствия дурных своих поступков. Правда, граждане приобретают при этом известный дух независимости, но это не тот дух, что колеблет законы и вызывает неповиновение высшим властям. Они откажут в повиновении только тем, которые священным име-

нем добродетели осмеливаются называть покорность их корыстным или прихотливым желаниям. Выказанные мною начала не понравятся, конечно, тем, которые, подвергаясь ударам тирании сверху, считают себя вправе переносить их на ниже себя стоящих. Мне пришлось бы всегда страшиться, если бы любовь к чтению была совместима с духом тирании.

§ V

ТЕМНОТА ЗАКОНОВ

Если толкование законов зло, то злом, очевидно, является и темнота их, заставляющая прибегать к толкованию. Это зло достигнет крайних пределов, если законы написаны на чуждом народу языке, превращающем книгу законов из общего и публичного в частное и домашнее достояние и ставящем народ, лишенный возможности судить о границах его свободы и свободы отдельных граждан, в зависимость от немногих лиц. Что должны мы думать о людях, зная, что такой устарелый обычай продолжает существовать до сих пор в значительной части образованной и просвещенной Европы! Чем больше лиц, понимающих священное Уложение законов и хранящих его у себя, тем меньше будет преступлений: незнание и неточное представление о наказаниях, вне сомнения, усиливают красноречие страстей.

Отсюда следует, что без письменности общество никогда не сможет достигнуть твердого образа правления, при котором власть исходит от всего общества, а не от отдельных его частей, при котором законы изменяются не иначе, как по общей воле, и не могут быть искажены в угоду частным интересам. Опыт и разум свидетельствуют, что достоверность и несомненность преданий слабеют по мере удаления от своего источника. Могут ли устоять законы перед неизбежной силой времени и страстей, если не будет постоянного памятника, напоминающего об общественном договоре?

Понятно поэтому, какую пользу принесло книгопечатание. Благодаря ему хранителем законов стало все общество, а не только немногие лица. Оно рассеяло дух кабалы и интриг, который исчезает при свете наук, страшась их, но притворяясь, что он их будто бы презирает. Благодаря книгопечатанию уменьшилась в Европе жестокость преступлений, заставлявших дрожать наших предков, бывших по очереди то тиранами, то рабами. Кто сравнит историю последних двух-трех веков с современной, увидит, как роскошь и изнеженность порождают самые кроткие добродетели: человеколюбие, благотворительность, терпимость к людским заблуждениям. Он увидит, к чему приводили прославленная простота и добрые нравы предков: человечество стонало под игом неумолимого

суеверия, жадность и честолюбие немногих заливали человеческой кровью кладовые богачей и престолы царей, повсюду тайная измена и открытая резня, каждый аристократ — тиран для плебеев, служители евангельской истины, воздевающие ежедневно к Богу милосердия руки, обгаренные кровью, — все это дела не нашего просвещенного века, который некоторыми называется развращенным.

§ VI

СОРАЗМЕРНОСТЬ МЕЖДУ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И НАКАЗАНИЯМИ

Общая польза требует, чтобы преступления не совершались, и в особенности — чтобы не совершались преступления, наиболее вредные для общества. Поэтому препятствия, сдерживающие людей от преступлений, должны быть тем сильнее, чем важнее нарушаемое благо и чем сильнее побуждения к совершению преступлений. Следовательно, должна быть соразмерность между преступлениями и наказаниями.

Невозможно предупредить все зло, порождаемое всеобщей борьбой человеческих страстей. Оно увеличивается соразмерно росту населения и возрастающим отсюда столкновениям частных интересов, потому что эти интересы нельзя согласовать и направлять к общему благу по правилам геометрии. В политической арифметике приходится математическую точность заменять вычислением вероятности. ** Бросив взгляд на историю, мы увидим, что с расширением границ государства растет и его неустройство, что в такой же степени ослабляется национальное чувство, что побуждения к преступлениям увеличиваются соразмерно выгодам, которые каждый извлекает для себя из общественного неустройства. Поэтому усиление наказаний становится по указанным соображениям все более и более необходимым. **

Сила, подобная тяжести, заставляющая нас стремиться к личному благополучию, сдерживается только противопологаемыми ей препятствиями. Эта сила проявляется в сложном ряде человеческих действий, и наказания, которые я назвал бы *политическими препятствиями*, предотвращают возможные вредные последствия от взаимного столкновения этих действий, не уничтожая порождающей их причины, т. е. неизменно присущей человеку чувствительности. Действуя так, законодатель поступает подобно искусному зодчему, обязанность которого — устранять вредное влияние силы тяжести и использовать ее там, где это способствует прочности здания.

Если мы признаем, что объединение людей необходимо, что имеются договоры, необходимо следующие из самой противоположности частных интересов, то может быть установлена и лестница нарушений порядка. Высшую ступень ее составляют те из них, которые разрушают непосредственно само общество, низшую — самое незначительное, какое только может быть, нарушение прав частного лица. Между этими крайними ступенями расположены в нисходящем порядке, от самого большего до самого малого, все действия, противные общему благу, называемые преступлениями. Если бы геометрия была приложима к бесчисленным и неясным сочетаниям человеческих поступков, то должна была бы существовать и соответствующая лестница наказаний — от наиболее тяжкого до наиболее легкого. Но мудрому законодателю достаточно указать только основные начала, не нарушая порядка назначением за преступления первой степени таких наказаний, которые соответствуют преступлениям последней степени. Если бы существовала точная и всеобщая лестница преступлений и наказаний, мы имели бы довольно верное общее мерило степени тирании и свободы, человеколюбия и жестокости различных наций.

Действие, которое не включено в указанную лестницу, не может называться *преступлением* и облагается наказанием только теми, кому выгодно его так называть. Неопределенность границ преступного породила в нациях нравственность, находящуюся в противоречии с законами, привела к тому, что одни законы противоречат другим, что наиболее мудрый подвергается наиболее суровому наказанию. Понятие *порока* и *добродетели* становится неопределенным и колеблющимся, наступает неуверенность в своем существовании, влекущая за собой для политических тел летаргию и гибельный сон. Кто как философ будет изучать законы и летописи наций, тот увидит, что почти всегда смысл таких слов, как «*добродетель*» и «*порок*», «*хороший гражданин*» и «*преступник*», изменялся в течение столетий не вследствие изменения условий страны, соответствующего общим интересам, но в силу страстей и заблуждений, овладевавших одно за другим различными законодателями. Он увидит, что довольно часто страсти одного века образуют основу нравственности будущих веков, что сильные страсти, порожденные изуверством и воодушевлением, ослабленные и смягченные временем, приводящим в равновесие все физические и моральные явления, становятся мало-помалу мудростью века и орудием, полезным в руках ловкого и сильного. Вот каким образом произошли понятия о чести, добродетели — понятия, наиболее смутные и теперь, потому что они изменяются под влиянием времени, оставляющего от вещей одни названия, потому что они изменяются в зависимости от рек и гор, являющихся очень часто границами не только в физической, но и в моральной географии.

Если наслаждение и страдание — движущее начало существ, одаренных чувствами, если среди побуждений, направляющих людей даже к самым возвышенным действиям, невидимый законодатель установил награды и наказания, то несомненно, что из неправильного распределения тех и других возникает противоречие, мало замечаемое, но тем более распространенное, заключающееся в том, что сами наказания порождают преступления. Если за два преступления, наносящие различный вред обществу, назначено одинаковое наказание, то отсутствуют побуждения, препятствующие совершению более значительного преступления, раз оно соединено с более значительной выгодой.

§ VII ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ МЕРИЛА НАКАЗАНИЙ

Предшествующие размышления дают мне право утверждать, что единственным и истинным мерилом преступлений является вред, который они приносят нации. Заблуждались поэтому те, кто считал истинным мерилом преступлений намерение лица, их совершающего. Намерение зависит от впечатлений настоящей минуты и от предшествующих настроений, меняющихся у всех и каждого вместе с чрезвычайно быстрой сменой идей, страстей и обстоятельств. Пришлось бы поэтому составлять не только особое Уложение для каждого гражданина, но и для каждого преступления издавать новый закон. Иногда люди в самых лучших намерениях наносят обществу чрезвычайно большой вред, иногда же, действуя под влиянием самого низкого желания, приносят ему огромную пользу.

Иные измеряют важность преступлений больше по достоинству потерпевшего лица, чем по их значению для общественного блага. Если бы это было истинным мерилом, то непочтительность к существу существ следовало бы наказывать строже, чем убийство монарха, потому что величие природы бесконечно перевешивает различие в размерах причиненного вреда.

Некоторые думали, наконец, что мерилом преступлений является тяжесть греха. Ошибочность этого мнения очевидна для каждого, кто беспристрастно исследует отношения человека к человеку и человека к Богу. Первые являются отношениями равенства. Только столкновение страстей и противоположность интересов породили идею *общей пользы*, являющуюся основой человеческой справедливости. Вторые являются отношениями зависимости от совершенного существа и творца, который только за собой ос-

тавил право быть одновременно и законодателем, и судьей, так как только он может вместить это без всякого вреда. Если он определил вечные наказания неповинующимся его всемогущей власти, то какое насекомое осмелится дополнять божественное правосудие, мстить за существо, которое само себе довлеет, которому чужды все земные радости и скорби и которое только одно не встречает противодействия? Тяжесть греха зависит от злобы сердца, глубину которой без божественного откровения не дано познать ограниченным существам. Каким же образом измерять преступления тяжестью греха? Люди стали бы наказывать там, где Бог прощает, и прощать там, где он наказывает. Если люди могут прогневить всемогущего, оскорбляя его, то, наказывая оскорбляющих его, они равным образом могут нарушить его волю.

§ VIII

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Мы видели уже, что истинным мерилom преступлений является вред, наносимый ими обществу. Это одна из тех очевидных истин, для открытия которых не требуется ни квадрантов, ни телескопов и которые доступны любому среднему уму. Но по странному стечению обстоятельств такого рода истины всегда и у всех наций сознавались ясно только немногими мыслящими людьми. Азиатские воззрения, страсти, прикрытые авторитетом и властью, заглушили простые понятия, составлявшие, быть может, философию только что возникавших обществ. Этого удалось достигнуть большею частью незаметными средствами, частью воздействуя сильными впечатлениями на робкую доверчивость людей. Но просвещение настоящего века возвращает нас, по-видимому, к этим истинам, получающим тем большую силу, что они подкреплены геометрически точным исследованием, печальным опытом, повторявшимся тысячу раз, и самим противодействием, которое они встречали. Теперь следовало бы изучить и установить различие между всеми родами преступлений и их наказанием. Но изменяющаяся в зависимости от времени и места природа их заставила бы войти в бесконечные и утомительные подробности. Я ограничусь разъяснением основных начал, указанием наиболее вредных и распространенных заблуждений. Этого будет достаточно, чтобы удержать от ошибок и тех, которые из дурно понятой любви к свободе хотели бы ввести анархию, и тех, которые предпочли бы подчинить жизнь людей однообразию монастырских правил.

Некоторые преступления разрушают непосредственно само общество или вызывают гибель того, кто является его представите-

лем; другие нарушают личную безопасность граждан, посягая на их жизнь, имущество и честь; третьи являются действиями, которые противоречат тому, что ввиду общественного блага закон предписывает каждому гражданину делать или не делать. Наиболее вредными, а потому и наиболее тяжкими являются первые преступления, именуемые оскорблением величества. Только невежество и тирания, смешивая и слова, и самые ясные понятия, могут применять это название, а следовательно, и самое тяжкое наказание, к преступлениям совсем другого рода, делая таким образом людей, как и в тысяче других случаев, жертвою одного слова. Всякое преступление, хотя бы и направленное против частных лиц, приносит вред обществу, но не всякое преступление направлено непосредственно на разрушение общества. Проявлению как физических, так и моральных действий поставлены, подобно всем движениям природы, пределы, различно обусловленные и временем, и пространством. Только придирическое толкование, являющееся обычной философией рабства, может поэтому смешивать то, что сама вечная истина навсегда разграничила.

За этими преступлениями следуют преступления против безопасности частных лиц. Так как эта безопасность и явилась главной целью каждого законного объединения, то нарушение права на безопасность, приобретенного каждым гражданином, должно влечь за собой одно из наиболее значительных установленных законом наказаний.

Мнение, что каждый гражданин вправе делать все, что не противно законам, не опасаясь никаких последствий, кроме тех, которые могут быть порождены самим действием, является политическим догматом, в который народы должны верить и который высшие власти должны исповедовать путем ненарушимого соблюдения законов. Это священный догмат, без которого не может существовать законное общество, справедливое вознаграждение за принесенную в жертву свободу по отношению ко всей природе, присущую всем существам, одаренным чувствами, и находящую предел только в своих собственных силах. Этот догмат создает в людях дух свободный и сильный, ум — просвещенный, порождает в них добродетель мужества, а не податливого благоразумия, достойного только тех, кто способен переносить жалкую и необеспеченную жизнь. Посягательства на безопасность и свободу граждан являются поэтому одними из важнейших преступлений. К ним относятся убийства и кражи, совершаемые не только плебеями, но и вельможами и власть имущими, так как их пример, оказывая сильное влияние на многих, разрушает в подданных понятия о справедливости и долге и устанавливает вместо них право сильного, одинаково опасное как для тех, кто им пользуется, так и для тех, кто от него страдает.

§ IX О ЧЕСТИ

Существует замечательное противоречие между гражданскими законами, охраняющими личность и имущество граждан более ревниво, чем что любое другое, и законами так называемой чести, для которой общественное мнение дороже всего. *Честь* принадлежит к числу тех слов, которые послужили основанием для длинных и блестящих рассуждений, не давших, однако, твердого и точного понятия о предмете. Печальное положение человеческого ума: менее важные представления о круговращении отдаленнейших небесных тел для него более ясны, чем близкие и самые важные нравственные понятия, всегда меняющиеся, колеблемые ветром страстей, подхватываемые и распространяемые невежеством, которому покровительствуют. Но это не покажется удивительным, если вспомним, что предметы, слишком приближенные к глазам, кажутся неясными. Нравственные идеи слишком близко касаются нас. Это приводит к тому, что многочисленные простые идеи, составляющие их, перепутываются и стираются пограничные линии, необходимые для геометрического ума, желающего измерить проявления человеческой чувствительности. Беспристрастный наблюдатель человеческих дел перестанет вообще поражаться, если поймет, что для своего счастья и безопасности люди не нуждаются в таком множестве моральных правил и запретов. *Честь* является одной из сложных идей, составленных не только из простых, но и сложных, в свою очередь, идей. Такого рода идеи, различно представляясь уму, то обнаруживают, то отбрасывают некоторые из своих элементов и сохраняют лишь немногое общее, подобно тому, как несколько сложных алгебраических величин имеют общий делитель. Чтобы найти этот общий делитель для различных идей, создаваемых людьми о *чести*, необходимо бросить беглый взгляд на происхождение общества. Первые законы и первые власти возникли из необходимости устранить зло, проистекающее от естественного деспотизма всех и каждого. Это было целью учреждения общества, и эта первоначальная цель всегда ставилась, в действительности или для виду, во главу всех Уложений, хотя бы и пагубных. Но большее сближение людей, успехи в познаниях породили бесконечный ряд взаимных отношений и потребностей, которые никак не могли предусмотреть законы и удовлетворить которые было не по силам для каждого в отдельности. С этого времени и устанавливается деспотизм общественного мнения — единственного средства получить от других добро и отворотить от себя зло в тех случаях, когда законы не могли этого обеспечить. Это общественное мнение является мучителем и для мудреца, и для

невежды, это оно выдает видимость добродетели за самую добродетель и превращает злодея, если это ему выгодно, в проповедника. Поэтому уважение людей стало не только полезным, но и необходимым, чтобы не упасть ниже общего уровня. Поэтому если честолюбивый добивается уважения по соображениям пользы, если тщеславный испрашивает его как награду за свои заслуги, то человек чести требует его, потому что оно ему необходимо. Эта честь является для очень многих условием их существования. Так как честь возникла после образования общества и не могла быть предметом общественного договора, то она знаменует внезапное возвращение к естественному состоянию и временному освобождению себя из-под власти тех законов, которые в данном случае недостаточно защищают гражданина.

Поэтому идеи чести при крайней политической свободе и при крайней зависимости исчезают или совершенно сливаются с другими идеями: в первом случае потому, что при деспотизме законов излишне добиваться уважения других, во втором — потому, что деспотизм людей уничтожает гражданское существование и делает жизнь каждого жалкой и необеспеченной. Честь является поэтому одним из основных начал тех монархий, в которых господствует умеренный деспотизм и в которых она составляет то же, что в деспотических государствах революция: возвращение на время в первобытное состояние и напоминание властителю о древнем равенстве.

§ X О ПОЕДИНКАХ

Необходимость пользоваться уважением со стороны других — при анархии законов — породила частные поединки. Утверждают, что поединки не были известны в древности. Возможно потому, что древние без всякого опасения собирались без оружия в храмах, в театрах, у друзей. Возможно потому, что поединки являлись обычным и общественным зрелищем, которое давалось для народа гладиаторами — рабами и презираемыми людьми, так что свободные люди опасались, как бы их не принимали за гладиаторов, если они будут устраивать поединки. Тщетно пытались законы, угрожая смертью принявшему вызов на поединок, искоренить обычай, объясняемый страхом перед тем, чего некоторые боятся больше смерти. Человек чести знает, что, лишаясь уважения других, он будет обречен на совершенное одиночество — состояние, невыносимое для общественного человека, или же станет мишенью для насмешек и оскорблений, повторение которых пересилит страх перед наказанием. Почему среди простого народа обычай поедин-

ка не распространен так, как среди высших сословий? Не только потому, что он обезоружен, но и оттого, что плебеи не так нуждаются в уважении других, как вышестоящие, которые с большим подозрением и завистью относятся друг к другу.

Небесполезно повторить уже сказанное другими авторами, которые указывали, что лучшим средством предупредить это преступление является наказание зачинщика, подавшего повод к поединку, и объявление невинным того, кто не по своей вине вынужден защищать то, что существующими законами не обеспечивается, иными словами, свою честь, и кто должен был показать согражданам, что он боится только законов, но не людей.

§ XI

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СПОКОЙСТВИИ

Наконец, к третьему роду преступлений относятся в особенности нарушения общественного и личного спокойствия граждан, как-то: шум и драки на общественных улицах, предназначенных для торговли и прохода граждан, фанатические проповеди, легко возбуждающие страсти любопытной толпы, и тем легче, чем многочисленнее слушатели. На большую массу людей никогда не действуют ясные и разумные доводы. Тем сильнее влияет на нее темное и загадочное исступление проповедников.

Ночное освещение за общественный счет, стража, распределенная по различным кварталам города, простые и нравственные беседы о религии в безмолвии и священной тишине храмов, поставленных под общественную охрану, речи в защиту частных и общественных интересов в народных собраниях, парламентах или там, где пребывает величество суверена, — все это действительные средства для предупреждения опасного нарастания народных страстей. Наблюдение за ними составляет главную отрасль деятельности той власти, которую французы называют *полицией*. Но если эта власть будет действовать по произволу, а не по установленным, находящимся в руках у всех граждан законам, то тогда будет открыт путь для тирании, которая всегда кружит на всех гранях политической свободы. Я не допускаю никаких исключений из общего правила, что каждый гражданин должен знать, когда он виновен и когда невинен. Если в каком-либо государстве необходимы цензоры или вообще власти, действующие по произволу, то это вызывается слабостью его устройства, а не является свойством хорошо устроенного правления. Неуверенность в своей участи дала для тирании, действующей тайно, больше жертв, чем их потребовала открыто и торжественно выступающая тирания. Последняя не столько уни-

жает, сколько возмущает людей. Настоящий тиран начинает всегда с того, что поработывает общественное мнение. Вследствие этого обессиливается мужество, которое может блистать единственно при ясном свете истины, или в огне страстей, или в неведении опасности.

Но какие наказания соответствуют этим преступлениям? Является ли смертная казнь действительно *полезной и необходимой* для безопасности и общественного порядка? *Справедливы* ли пытки и мучения и достигают ли они *цели*, предполагаемой законами? Как лучше всего предупреждать преступления? Одинаковую ли пользу приносят одни и те же наказания во все времена? Какое влияние оказывают они на нравы? Все эти вопросы заслуживали бы геометрически точного решения, перед которым были бы бессильны все туманные софизмы, соблазняющее красноречие и боязливое сомнение. Если бы у меня не было иной заслуги, кроме той, что я первый представил Италии с большей ясностью то, что другие нации осмелились написать и начинают проводить в жизнь, — я считал бы себя счастливым. Но если, защищая права людей и непобедимой истины, я мог бы спасти от страданий и предсмертной тоски хотя бы одну несчастную жертву тирании или столь же беспощадного невежества, то благословения и слезы радости одного невинного вознаградили бы меня за людское презрение.

§ XII

ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЙ

Простое рассмотрение изложенных до сих пор истин с очевидностью показывает, что цель наказаний заключается не в истязании и мучении человека и не в том, чтобы сделать несуществующим уже совершенное преступление. Может ли политическое тело, которое не только само не руководствуется страстями, но и умеряет страсти частных лиц, может ли оно давать приют такой бесполезной жестокости, орудию злобы и фанатизма и слабых тиранов? Разве могут стоны несчастного сделать не бывшим то, что совершено в прошлом? Следовательно, цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того же. Поэтому следует употреблять только такие наказания, которые при сохранении соразмерности с преступлениями производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на душу людей и были бы наименее мучительными для тела преступника.

§ XIII О СВИДЕТЕЛЯХ

Весьма важно для всякого хорошего законодательства точно определить достоверность свидетелей и доказательства виновности. Всякий разумный человек, т.е. всякий, кто обладает способностью связно мыслить и такими же чувствами, как и у других людей, может быть свидетелем. ** Истинным мерилом достоверности является не что иное, как заинтересованность человека говорить или не говорить правду. Вздорным поэтому является соображение о слабости женщин, ребяческим — приравнивание гражданской смерти к смерти естественной, не имеющей значения является ссылка на бесчестие лиц, у которых нет никакого расчета лгать. ** Достоверность свидетеля должна уменьшаться поэтому в зависимости от враждебных, дружеских или иных отношений свидетеля к обвиняемому. Одного свидетеля недостаточно, потому что если один утверждает, а другой отрицает, то нет ничего достоверного, и в таком случае каждый имеет право считаться невинным. Достоверность свидетеля тем более уменьшается, чем ужаснее преступление¹ или чем более оно невероятно, как, например, колдовство и бесцельная жестокость. При обвинении в колдовстве более вероятно, что несколько человек по невежеству или по злобе говорят неправду, и менее вероятно, что один человек обладает силой, которой Бог никому не давал или которой он лишил всех созданных им существ. Точно так же обстоит дело при втором обвинении, потому что человек бывает жесток лишь поскольку это вызывается его личным интересом, его ненавистью или страхом. Чувства человека всегда соответствуют полученным впечатлениям, так

^{***1} Криминалисты считают, что достоверность свидетеля тем более возрастает, чем более ужасным является преступление. Вот железное правило, внушенное самым жестоким безумием: *In atrocissimis leviores conjuncturae sufficiunt, et licet Iudici jura transgredi.* Переведем это на простой язык, и европейцы узнают одно из многочисленных и одинаково неразумных правил: «При обвинении в наиболее ужасных преступлениях, т.е. наименее вероятных, достаточно самых слабых предположений и судье предоставляется право не считаться с законом». Нелепые законодательные положения являются часто следствием страха, этого главного источника человеческих противоречий. Законодатели (а таковыми являются юристы, которые после своей смерти сделались оракулами и превратились из пристрастных и продажных писателей в законодателей и вершителей человеческих судеб), напуганные осуждением нескольких невинных, перегружают законоведение чрезмерными формальностями и исключениями, точное исполнение которых возвело бы на престол правосудия анархическую безнаказанность; напуганные несколькими ужасными и труднодоказуемыми преступлениями, они сочили необходимым пренебречь формальностями, ими же самими установленными, и превратили таким образом, действуя то из деспотического нетерпения, то из женской робости, важное дело правосудия в какую-то игру, в которой случай и плутовство исполняют главную роль. **

что ни одно чувство не может возникнуть без причины. Равным образом достоверность свидетеля может уменьшиться, если он является членом какого-нибудь частного общества, обычай и правила которого или мало известны, или отличны от общепринятых. Такой человек находится под влиянием не только своих, но и чужих страстей.

Наконец, когда из слова делается преступление, то достоверность свидетеля равняется почти нулю, потому что оттенки голоса, телодвижения, все, что предшествует или сопровождает различные идеи, которые выражаются одними и теми же словами, так изменяет сказанное, что почти невозможно с точностью воспроизвести его. Кроме того, насильственные и необычные действия, каковыми и являются настоящие преступления, оставляют по себе многочисленные следы и последствия. Слова же остаются только в памяти слышавших их, большую частью неверной и часто введенной в заблуждение. Поэтому гораздо легче оклеветать человека, ссылаясь не на действия, а на слова его, так как чем больше обстоятельств приводится в качестве доказательств, тем больше средств предоставляется обвиняемому для своего оправдания.

*§ XIV

УЛИКИ И ФОРМЫ СУДА

Имеется общая теорема, весьма полезная для исчисления достоверности какого-либо события, для исчисления, например, силы улики какого-нибудь преступления. Если доказательства какого-нибудь события зависят одно от другого, т.е. если одна улика доказывается только другой, то чем многочисленнее доказательства, тем меньше вероятность события, потому что в тех случаях, где будет опровергнуто предшествующее доказательство, потеряют свое значение и последующие. ** Когда все доказательства какого-нибудь события одинаково зависят только от одного из них, то от числа их вероятность события не увеличивается и не уменьшается, потому что вся сила их заключается в силе того одного доказательства, от которого они зависят. ** Если доказательства не зависят одно от другого, т.е. если улики доказываются не взаимно, не одна с помощью другой, а иным путем, то чем больше приводится доказательств, тем больше вероятность события, потому что недействительность одного доказательства не влияет на другое. Я говорю о вероятности, имея в виду преступления, которые могут подлежать наказанию лишь при условии их достоверности. Но это не покажется странным для того, кто примет во внимание, что моральная достоверность является, строго говоря, не чем иным, как вероятностью. Эта вероятность называется достоверностью,

потому что каждый благоразумный человек неизбежно признает ее таковой в силу навыков, сложившихся под влиянием необходимости действовать, навыков, предшествующих всякому отвлеченному рассуждению. Для признания человека виновным требуется, следовательно, такая достоверность, которой руководствуется каждый в важнейших делах своей жизни.** Доказательства преступления могут быть разделены на совершенные и несовершенные. Я называю совершенными те, которые исключают возможность невиновности; называю несовершенными те, которые эту возможность не исключают. Даже одного совершенного доказательства достаточно для обвинения, тогда как несовершенных нужно иметь столько, чтобы вместе они могли составить совершенное доказательство. Другими словами, если каждое из них в отдельности допускает возможность невиновности, то совокупность их исключает эту возможность. Нужно заметить, что несовершенные доказательства, если обвиняемый их мог и должен был опровергнуть, но этого не сделал, становятся совершенными. Но эту моральную достоверность доказательств легче почувствовать, чем точно определить.** Поэтому я считаю лучшими те законы, по которым к главному судье придаются заседатели, по жребию, а не по выбору, потому что в этом случае незнание, судящее по чувству, является надежнее учености, судящей по предвзятому мнению. Где законы ясны и точны, обязанность судьи состоит единственно в установлении события. Если для отыскания доказательств необходимы опытность и находчивость, если в представлении выводов из доказательств нужны ясность и точность, то для вынесения решения на основании этих выводов необходим лишь простой здравый смысл, менее обманчивый, чем знания судьи, склонного всюду видеть виновных и подводящего все под искусственную систему, вынесенную им из школы. Счастлива та нация, где знание законов не составляет науки. Наиболее полезным является закон, требующий, чтобы каждый был судим равными себе, потому что там, где речь идет о свободе и благополучии граждан, должны умолкнуть чувства, внушаемые неравенством; в таком суде нет места ни высокомерию, с которым счастливый смотрит на несчастного, ни озлоблению, с которым низший смотрит на высшего. Но если преступление нанесло вред третьему лицу, то одна половина судей должна быть взята из сословия подсудимого, а другая — из сословия потерпевшего. Когда таким образом будут уравновешены частные интересы, невольно изменяющие представления о предметах, то слово будет иметь только законы и истина. Было бы также справедливо, чтобы обвиняемый мог в известных пределах отводить судей, которые ему кажутся подозрительными. Если это будет ему беспрепятственно предоставлено в течение известного времени, то осуждение представится как бы его собственным приговором над самим собой. Суды должны быть публичны, публично должны

представляться и доказательства преступления, чтобы общественное мнение, которое является, быть может, единственным связывающим общество началом, могло обуздать насилие и страсти, чтобы народ мог сказать: мы не рабы, мы имеем защиту — сознание, внушающее мужество, равноценное дани суверену, понимающему истинную свою пользу. Я не буду вдаваться в подробности и указывать условия, которых требуют подобные учреждения. Ничего я не мог бы сказать, если бы нужно было сказать все.*

§ XV

ТАЙНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Тайные обвинения являются очевидным, но освященным злом, и у многих наций вследствие слабости их государственного устройства они стали необходимостью. Этот обычай делает людей лживыми и скрытными. Кто может подозревать в другом доносчика, тот видит в нем своего врага. Люди привыкают тогда скрывать свои настоящие чувства, а привыкнув притворяться перед другими, кончают тем, что притворяются перед собой. Несчастны люди, дошедшие до такого состояния: лишены ясных и твердых начал, которые указывали бы им путь, они блуждают, потерянные и колеблемые, по обширному морю сомнений, поглощенные заботой спастись от чудовищ, им угрожающих; их настоящее всегда отравлено неизвестностью будущего; они лишены длительных наслаждений, доставляемых спокойствием и безопасностью; немногие наслаждения, выпадающие на их долю и за которые они хватаются жадно и беспорядочно, едва ли утешат их в том, что они жили на свете. Можно ли из таких людей создать бесстрашных воинов, защитников отечества или престола? Можно ли среди таких людей найти неподкупных слугителей власти, которые свободно и с красноречием, вызванным любовью к отечеству, разьясняли и поддерживали бы истинные интересы суверена, которые несли бы к престолу вместе с данью любовь и благословение ото всех сословий, а от него к дворцам и хижинам мир, безопасность и надежду на лучшее будущее, являющуюся полезным бродилом и жизненной силой государства?

Кто может защититься от клеветы, когда она вооружена самым сильным шитом тирании — тайной? Что же это за правление, где правитель в каждом подданном подозревает врага и вынужден ради общественного спокойствия лишать спокойствия каждого из граждан?

* Чем оправдываются тайные обвинения и наказания? Общественным благом, безопасностью и поддержанием существующего образа правления? Но что же это за государственное устройство, при котором имеющий за собой власть и, что еще более важ-

но, общественное мнение, боится каждого гражданина? Безопасностью обвинителя? Законы, следовательно, недостаточно защищают его: подданные, таким образом, оказываются сильнее суверена! Бесчестием для доносителя? Значит, дозволяется тайная клевета, а наказывается только открытая! Свойством преступления? Если действия, безразличные и даже полезные для общества, называются преступлениями, то ни обвинение, ни суд не будут достаточно тайными. Но существуют ли преступления, т.е. действия, приносящие вред обществу, которые для установления примера не требовали бы публичного суда? Я уважаю все правления и не говорю ни об одном из них в частности. Иногда обстоятельства бывают таковы, что искоренение зла, неразрывно связанного с государственным устройством, может привести к гибели нации. Но если бы в каком-нибудь заброшенном уголке земли мне пришлось бы писать новые законы, то перед моими глазами предстало бы грядущее потомство — и дрогнувшая рука отказалась бы узаконить такой обычай.*

Еще господин де Монтескье сказал, что публичное обвинение более свойственно республике, где стремление к общему благу должно составлять самую сильную страсть граждан. В монархии же, где по самой природе правления это чувство представляется весьма слабым, лучше всего было бы назначить особых комиссаров, которые от имени общества обвиняли бы нарушителей законов. Но при всяком правлении, и республиканском и монархическом, клеветник должен подлежать наказанию, которому мог бы подвергнуться обвиненный.

§ XVI О ПЫТКЕ

Пытка обвиняемого во время суда над ним является жестокостью, освященной обычаем. Обвиняемого пытаются, чтобы вынудить его признание или потому, что в его показаниях имеются противоречия. Его пытаются, чтобы обнаружить соучастников или ради какого-то метафизического и непонятного очищения.* Его пытаются, наконец, с целью раскрытия других преступлений, в которых он хотя не обвиняется, но может быть виновным.*

Никто не может быть назван *преступником*, пока не вынесен обвинительный приговор, и общество не может лишить обвиняемого своего покровительства до того, как будет решено, что он нарушил условия, при соблюдении которых ему и обеспечивалось это покровительство. Следовательно, только право силы может дать судье власть наказывать гражданина, когда существует еще сомнение, является ли он виновным или нет. Не новой является следу-

ющая дилемма: преступление доказано или не доказано. Если доказано, то за него можно назначить только то наказание, которое установлено законом, и пытка является бесполезной, потому что сознание преступника излишне. Если же преступление не доказано, то нельзя истязать невинного, которым по закону должен считаться всякий, чье преступление не доказано. Прибавлю к этому, что требовать от человека, чтобы он был в одно и то же время и обвинителем, и обвиняемым, думать, что боль является горнилом истины, как будто бы последняя измеряется силой мускулов и жил несчастного, — значит спутывать все отношения. Это верное средство оправдать злодея с крепким телосложением и осудить невинного, но слабосильного. Вот роковые недостатки этого мнимого оселка истины, достойного людоедов, который римляне, сами варвары во многих отношениях, применяли только к рабам, жертвам их дикой и не в меру превознесенной добродетели.

Какова политическая цель наказаний? Устрашение других. Но какой же приговор должны мы вынести о тайных и скрытых избиениях, устраиваемых тиранией по установившемуся обычаю и над виновными, и над невинными? Важно, чтобы ни одно преступление, сделавшееся известным, не осталось безнаказанным, но бесполезно отыскивать того, чье преступление скрыто во мраке. Общество может наказывать зло, уже совершенное и потому непоправимое, лишь в том случае, если оно возбуждает в других надежду на безнаказанность. Если верно, что людей, по страху или по добродетели исполняющих законы, больше, чем людей, нарушающих их, то опасность подвергнуть мучениям человека невинного должна возрастать тем больше, чем вероятнее, что при одинаковых обстоятельствах каждый скорее исполнит, чем нарушит закон.

Другим нелепым основанием пытки является очищение от бесчестья. Поэтому признаваемый по закону бесчестным должен подтверждать показание вывихом своих костей. Подобное злоупотребление нетерпимо в восемнадцатом веке. Верят, что боль, т.е. ощущение, очищает от бесчестья, являющегося чисто моральным состоянием. Но разве боль — горнило, а бесчестие — тело с нечистой примесью? Нетрудно установить происхождение этого бессмысленного закона. Даже нелепости, усвоенные нацией, всегда имеют некоторую связь с другими идеями, которые распространены в той же нации и уважаются ею. По-видимому, этот обычай возник из религиозных и духовных идей, имевших такое сильное влияние на умы людей, на нации и на века. Непогрешимый догмат учит нас, что грехи, порожденные человеческой слабостью, но не заслуживающие вечного гнева высшего существа, должны быть очищены каким-то непостижимым огнем чистилища. Но бесчестие является гражданским пятном, и если страдания и огонь удаляют духовные и бесплотные пятна, то почему же мучениям пытки не удалить гражданского пятна -- бесчестья? Я думаю, что при-

знание обвиняемого, которое в некоторых судах считается необходимым условием для осуждения, имеет подобное происхождение, потому что перед таинственным судилищем, где люди приносят покаяние, признание своих грехов является существенной частью таинства. Вот до чего люди злоупотребляют надежнейшим светом божественного откровения. А так как во времена невежества только он один и светит, то к нему и прибегает послушное человечество и делает из него самое нелепое и неподходящее применение. Но бесчестье является чувством, не зависящим ни от закона, ни от разума, а от общественного мнения. Сама пытка наносит бесчестье тому, кто делается ее жертвой. Таким образом, бесчестье смывается новым бесчестьем.

Третьим основанием для применения пытки к подозреваемым в преступлении служат противоречия в их показаниях. Как будто бы страх наказания, неизвестность приговора, обстановка и торжественность суда, невежество, присущее почти всем подсудимым — как злодеям, так и невинным, — не являются вероятной причиной противоречий и в показаниях невинного подсудимого, который трепещет, и виновного, который старается спасти себя. Как будто бы противоречия, свойственные людям в спокойном состоянии, не должны умножиться, когда их душа взволнована и полностью поглощена мыслью о спасении от угрожающей опасности.

Этот бесчестный способ открытия истины является поныне сохранившимся памятником древнего и дикого законодательства, когда испытание огнем и кипятком, а также неверный исход поединка назывались *судом Божиим*. Как будто бы звенья вечной цепи, покоящейся в недрах первопричины, должны приходиться в беспорядок и разрываться в любую минуту ради ничтожных человеческих учреждений. Единственное различие между пыткой и испытанием огнем или кипятком заключается, по видимости, в том, что исход первой зависит от воли обвиняемого, а исход второго — от чисто физического и внешнего события. Но это различие только кажущееся, его нет в действительности. Свобода сказать или не сказать правду среди мучений пытки так же ничтожна, как когда-то ничтожна была возможность, не прибегая к обману, избежать действия огня и кипятка. Всякое проявление нашей воли всегда соразмерно силе чувственных впечатлений, являющихся его источником, чувствительность же всех людей имеет свои пределы. Следовательно, ощущение боли может достигнуть такой степени, что, овладев всем человеком, оно оставит подвергнутому пытке только свободу избрать наиболее краткий в данную минуту путь, который избавил бы его от мучений. И ответ обвиняемого будет столь же неизбежным, как и действие огня и кипятка. Таким образом, обвиняемый, не вынесший боли, признает себя виновным в надежде прекратить страдания. Всякое различие между виновным и невинным исчезает благодаря тому самому средству, которое

считается предназначенным именно для установления этого различия.* Излишне более подробно освещать этот вопрос, приводя бесчисленные примеры того, как невинные признавали себя в муках пытки виновными. Нет такой нации, нет такого века, где бы не было таких примеров. Но люди не меняются и не делают соответствующих выводов. Нет человека с кругом идей, выходящих за пределы житейских нужд, который не пытался бы время от времени отозваться на таинственный и смутный зов природы, но обычай — этот тиран ума — застрачивает и удерживает его.* Исход пытки зависит, таким образом, от темперамента и расчета, который у каждого человека различен в зависимости от его силы и чувствительности, так что математик лучше, чем судья, мог бы разрешить следующую задачу: при данной силе мускулов и данной чувствительности нервов невинного определить ту степень боли, которая заставит его признать себя виновным в данном преступлении.

Допрос обвиняемого производится в целях раскрытия истины. Но если эта истина с трудом распознается по наружному виду, по телодвижениям, по выражению лица у человека, находящегося в спокойном состоянии, то еще труднее распознать ее, когда страдания искажают все черты лица, по которым у людей, вопреки их желанию, иной раз можно разгадать истину. Всякое насилие спутывает и стирает у предметов те мельчайшие различия, по которым иногда можно отделить правду от лжи.

Эти истины были известны еще римским законодателям, применявшим пытку только к рабам, которые были лишены каких бы то ни было прав личности. Эти истины признаны Англией. Превосходство законов этой нации свидетельствуют ее успехи в науках, торговле, ее богатство, а равно и примеры добродетели и храбрости. Пытка отменена в Швеции. Ее отменил один из мудрейших монархов Европы, возведший философию на престол и ставший для своих подданных законодателем-другом. Подчинив их только законам, он сделал их свободными и равными — единственная свобода и единственное равенство, которых разумные люди могут требовать при настоящем положении вещей. Пытка не признается необходимой и по военным законам, несмотря на то, что войска в большей своей части состоят из подонков наций, и потому войско должно бы, казалось, ею больше пользоваться, чем какое-либо другое сословие. Странным покажется для человека, не принимающего в расчет тиранической власти обычая, что законы для мирных граждан должны учиться более человеческим судебным порядкам у людей, очерствелых от резни и крови.

Смутно, но все же эта истина чувствуется и теми, кто от нее отвращается. Сознание во время пытки не считается действительным, если оно не подтверждено присягой после пытки. Но если обвиняемый не подтвердит своего сознания, то он вновь подвергается пытке. Некоторыми учеными и нациями такое бессчетное

повторение пытки допускается до трех раз, другие ничем не ограничивают произвол судьбы. Таким образом, из двух людей, одинаково невинных или одинаково виновных, сильный и мужественный будет оправдан, а слабый и робкий будет осужден буквально на основании следующего рассуждения: *мне, судье, необходимо доказать, что вы виновны в таком-то преступлении; ты, сильный, сумел выдержать боль, и поэтому я тебя оправдываю; ты же, слабый, не устоял, и поэтому я тебя осуждаю. Чувствую, что сознание, вырвавшееся среди мучений, не имеет никакой силы, но если вы не подтвердите того, в чем признались, то я заново подвергну вас мучениям.*

Как это ни странно, но применение пытки приводит к тому, что невинный находится в худших условиях, чем виновный. Если оба подвергнуты пытке, то невинный находится в тяжелом положении: если он признается в преступлении, то будет осужден, если же не признается, то будет оправдан только после того, как вынесет незаслуженное наказание. Но для виновного исход пытки может быть и благоприятным. Если он с твердостью выдержит пытку, то он должен быть оправдан как невиновный. Тем самым он отделается меньшим наказанием. Таким образом, невинный может только проиграть, виновный же может и выиграть.

Закон, предписывающий пытку, как бы говорит: *люди, не поддавайтесь боли. Я знаю, что неизгладимое чувство самосохранения заложено в вас природой, что она дала вам неотъемлемое право на самозащиту. Но я порожаю в вас совершенно противоположное чувство — героическую ненависть к самому себе. Я приказываю вам обвинять самих себя, говоря правду даже и тогда, когда вам будут рвать мускулы и ломать кости.*

* Пытка применяется, чтобы открыть, не совершил ли обвиняемый преступлений помимо тех, в которых он обвиняется. Это равносильно следующему рассуждению: *ты виновен в одном преступлении, следовательно, возможно, что ты виновен и в сотне других; это сомнение тягостно мне, и я хочу рассеять его с помощью моего мерила истины. Законы разрешают тебя мучить, потому что ты виновен, потому что ты можешь быть виновен, потому что я хочу, чтобы ты был виновен.**

Наконец, обвиняемого пытаются, чтобы открыть соучастников его преступления. Но если доказано, что пытка не является средством, пригодным для установления истины, то каким же образом можно с ее помощью раскрыть соучастников? Ведь это тоже истина, подлежащая раскрытию. Как будто бы человеку, обвиняющему самого себя, не легче обвинить других. И справедливо ли мучить людей за преступления, совершенные другими? Разве нельзя раскрыть соучастников путем допроса свидетелей, обвиняемого, при помощи вещественных и иных доказательств и вообще с помощью всех тех же средств, которыми доказывается виновность обвиня-

емого? В большинстве случаев соучастники бегут, как только их товарищ задержан. Уже одна неизвестность судьбы осуждает их на изгнание. Это освобождает нацию от опасности новых преступлений. В то же время наказание задержанного виновного достигает единственной своей цели — путем устрашения удержать других от совершения подобного же преступления.

** § XVII

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЕ

Было время, когда почти все наказания были денежными. Преступления считались вотчиной государя. Посягательства против общественной безопасности являлись источником дохода: лица, на которых возлагалась охрана этой безопасности, были заинтересованы в том, чтобы она нарушалась. Наказание составляло, таким образом, предмет спора между казной — сборщиком денежных взысканий — и обвиняемым. Дело было гражданским, спорным, скорее частным, нежели общественным. Казна получала иные права, чем это требовалось для защиты общества, для виновного наступали неприятные последствия — иные, чем те, которым он должен был подвергнуться в назидание другим. Судья был, следовательно, скорее стряпчим казны, чем беспристрастным исследователем истины, скорее сборщиком казначейства, чем охранителем и слугой законов. Но так как при этом порядке признать себя преступником означало признать себя должником казны, что и составляло главную цель уголовного суда того времени, то и признание в преступлении, направляемое на пользу, а не во вред казны, составляло и продолжает составлять до настоящего времени (последствия всегда намного переживают причины, породившие их) центр, вокруг которого обращается весь уголовный судебный порядок. При отсутствии сознания подсудимый, хотя и уличенный несомненными доказательствами, будет подвергнут меньшему наказанию, чем это установлено, и не будет подвергнут пытке за иные преступления того же рода, которые могли быть им совершены. С получением сознания судья завладевает телом обвиняемого и истязает его по всем правилам, чтобы извлечь из него, как из благоприобретенной недвижимости, всю возможную пользу. При доказанности самого преступления сознание является убедительным доказательством. Чтобы оно было менее подозрительным, его добывают с помощью мучений и страданий, доводящих до отчаяния, в то время как внесудебное сознание, спокойное и бесстрастное, не омраченное страхом перед орудиями судебной пытки, считается недостаточным для осуждения. Исключаются исследования и доказательства, хотя и выясняющие преступление, но

нарушающие интересы казны. Если иногда обвиняемый и освобождается от пытки, то это делается не из внимания к его несчастью и слабости, а в интересах казны, этого воображаемого и непонятного существа. Судья становится врагом обвиняемого человека, закованного в цепи, отданного в жертву мучениям, тоске и самому ужасному будущему. Он не стремится установить истинность самого события, он ищет преступление в самом узнике. Он расставляет ему ловушки и при неудаче считает, что он проиграл и что пострадала та непогрешимость, которую человек всегда любит себе приписывать. От судьи зависит признать улики достаточными для предварительного заключения. Чтобы доказать свою невиновность, человек должен быть сперва объявлен виновным. Это называется *обвинительным процессом*, и такой порядок производства уголовных дел существует в восемнадцатом веке, почти во всех частях просвещенной Европы. Правильное судопроизводство — *следственное*, т.е. беспристрастное исследование события, требуемое разумом, принятое военными законами и допускаемое даже азиатским деспотизмом в делах обыденных и маловажных, почти не применяется в европейских судах. Какое сложное сплетение странных нелепостей, которым едва ли поверит более счастливое потомство! Только философы того времени смогут, изучая природу человека, объяснить возможность существования подобной системы.**

§ XVIII О ПРИСЯГЕ

Присяга, требующая от обвиняемого, чтобы он говорил правду тогда, когда для него важнее всего быть лживым, порождает противоречие между законами и естественными чувствами человека. Как будто человек может правдиво присягать на свою погибель, как будто религия не молчит у большинства людей, когда дело касается их интересов. Опыт всех веков показал, что этим драгоценным даром неба люди злоупотребляли более, нежели чем-либо другим. И по каким побуждениям будут уважать религию злодеи, если люди, считавшиеся наиболее мудрыми, зачастую оскорбляли ее? Не воздействуя непосредственно на чувства, побуждения, которые религия противопоставляет волнениям страха и любви к жизни, оказываются для большинства слишком слабыми. Дела небесные управляются по совершенно иному закону, чем дела человеческие. Зачем же подрывать одними законами уважение к другим? Зачем же ставить человека в ужасное положение: или согрешить перед Богом, или помочь собственной гибели? Закон, предписывающий подобную присягу, требует, таким образом, от обвиняемого, чтобы он стал либо плохим христианином, либо мучеником.

Присяга превращается мало-помалу в пустую обрядность, а это ослабляет религиозные чувства — единственный для большинства людей залог честности. Опыт показал бесполезность присяги, так как каждый судья может мне засвидетельствовать, что ни одного еще обвиняемого присяга не заставила сказать правду. В этом убеждает и разум, объявляющий бесполезными, а следовательно, и вредными все законы, противоречащие естественным чувствам человека. Такого рода законы подобны плотинам, воздвигнутым прямо против течения реки: они или сразу разрушаются и уносятся водой, или же образовавшийся благодаря им самим водоворот незаметно разъедает и подтачивает их.

§ XIX НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАКАЗАНИЙ

Чем скорее следует наказание за преступлением, чем ближе к нему, тем оно справедливее, тем оно полезнее. Справедливее — потому что избавляет виновного от излишних и жестоких мучений, которые вызываются неизвестностью и возрастают от силы воображения и от ощущения своей слабости. Справедливее и потому, что, будучи наказанием, лишение свободы не должно предшествовать приговору, если это не вызывается необходимостью. Предварительное заключение является, следовательно, только простым задержанием гражданина до признания его виновным. Но так как это задержание по существу есть наказание, то оно должно быть как можно менее продолжительным и как можно менее суровым. Наименьшая продолжительность должна определяться временем, требуемым для расследования дела, и очередностью; задержанный раньше имеет право на то, чтобы его и судили прежде других. Предварительное заключение должно быть суровым лишь настолько, насколько это необходимо для воспрепятствования побегу или сокрытию доказательств преступления. Само производство дела должно быть закончено в возможно краткое время. Может ли какая-нибудь противоположность быть более жестокой, чем беспечность судьи и страдания обвиняемого? С одной стороны, удобства и наслаждения жизни для бесчувственного судьи, с другой — тоска и слезы для заключенного. Вообще, тяжесть наказания и последствия преступления должны производить наиболее сильное впечатление на других и быть как можно менее чувствительными для того, кто их переносит: не может называться законным обществом, не признающее в качестве непоколебимого начала желание людей подвергать себя как можно меньшим страданиям.

Я сказал, что наказание тем полезнее, чем скорее оно следует, потому что чем меньше прошло времени между преступлением и

наказанием, тем более сильной и длительной будет в уме человека связь этих двух идей: *преступления* и *наказания*, так что они произвольно будут представляться — одно как причина, а другое как необходимое и неизбежное следствие. Доказано, что связь идей является цементом, скрепляющим все здание человеческого ума, без которого наслаждение и страдание были бы ощущениями обособленными и не вызывающими никакого действия. Чем дальше люди от общих идей и от общих начал, т.е. чем они невежественнее, тем больше действуют они под влиянием непосредственной и более близкой связи идей, оставляя без внимания более отдаленную и сложную связь их. Последняя сознается только теми, кто страстно стремится к какой-либо цели, так как тогда лишь луч внимания освещает один определенный предмет, оставляя во мраке другие. Равным образом отдаленная связь идей осознается и более развитыми умами, привыкшими быстро и сразу охватывать взглядом многочисленные предметы и легко сопоставлять различные отдельные ощущения, так что вывод, к которому они приходят, т.е. их поведение, является менее опасным и менее ошибочным. Чрезвычайно важное поэтому имеет значение быстрое следование наказания за преступлением, если хотят, чтобы в грубых и невежественных умах вслед за обольстительной картиной какого-либо преступления, сулящего выгоду, непосредственно возникла связанная с ним идея наказания. Промедление приводит только к тому, что эти две идеи все более и более разъединяются друг от друга, и какое бы впечатление ни производилось исполнением наказания, *оно будет скорее впечатлением от зрелища, чем впечатлением от наказания,* оно будет приводиться в исполнение тогда, когда в душе зрителей чувство ужаса перед преступлением ослабло, а это чувство могло бы усилить впечатление от наказания.

Есть и другое замечательное средство, еще более укрепляющее важную связь между преступлением и наказанием: наказание должно по возможности быть сходным с самой природой преступления. Это сходство замечательно помогает противопоставить побуждению совершить преступление устрашающее действие наказания. Таким образом, это сходство отдаляет ум от преступления и направляет его к цели, противоположной той, к которой его увлекала соблазнительная идея нарушить закон.

§ XX НАСИЛИЯ

Одни преступления направлены против личности, другие — против имущества. Первые должны непременно подлежать личным наказаниям: ни знатный, ни богатый не должны иметь права от-

купиться деньгами за преступления против слабых и бедных. В противном случае богатство, являющееся благодаря покровительству законов наградой за трудолюбие, стало бы опорой тирании. Там нет свободы, где законы допускают, что в известных случаях человек перестает быть *личностью* и рассматривается как *вещь*. В таком случае вы бы увидели, что сильные прилагают все свое старание, чтобы использовать те положения, которые закон установил в их интересах. Эта лазейка является волшебной палочкой, превращающей граждан в рабочий скот, она является в руках сильного цепью, которой он связывает действия непредусмотрительных и слабых. Вот почему при некоторых правлениях, имеющих всю видимость свободы, скрытно господствует тирания или же она непредвиденно проникает в какой-либо забытый законодателем уголок и там незаметно усиливается и распространяется. Против явной тирании люди воздвигают обычно самые прочные преграды. Но они не обращают внимания на незаметного червя, подтачивающего плотину и открывающего разрушительному потоку путь, тем более надежный, чем более он сокрыт.

* § XXI

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ДВОРЯН

Какие же наказания следует назначать за преступления дворянам, привилегии которых составляют значительную часть законов различных наций? Я не стану останавливаться здесь на вопросах: полезно ли при каком-нибудь образе правления это наследственное деление на дворян и плебеев и является ли оно необходимым для монархии; правда ли, что дворянство составляет среднюю власть, сдерживающую злоупотребления двух крайних; или же не является ли оно скорее сословием, рабом самого себя и других, небольшим кругом, замкнувшим в себе все преимущества жизни, подобно цветущим и плодородным оазисам в обширных песчаных пустынях Аравии; и если справедливо, что неравенство является неизбежным или полезным для общества, то справедливо ли, чтобы оно проявлялось между сословиями, а не между отдельными лицами; чтобы оно оставалось в одной части политического тела, вместо того чтобы менять свое положение, чтобы оно длилось вечно, вместо того чтобы непрестанно то возникать, то исчезать? Я ограничусь только вопросом о наказаниях для этого сословия, утверждая, что они должны быть одни и те же что для первого, что для последнего гражданина. Чтобы быть законным, всякое различие предполагает предшествующее равенство, основанное на законе, одинаковом для всех ему подвластных. Необходимо предположить, что, отказываясь от естественного своего самовластия,

люди сказали: *более трудолюбивый да получит и большую часть, и слава его да перейдет на его потомков. Более счастливый и более почитаемый может надеяться на большее, но пусть он не менее других страшится нарушить те договоры, благодаря которым он возвысился над другими.* Правда, такого рода постановления не исходили от какого-либо законодательного собрания человечества, но они следуют из неизменной природы вещей. Они не устраняют выгод, связанных, как думают, с существованием дворянства, но благодаря им не могут проявиться плохие его стороны. Препраждая все пути к безнаказанности, они заставляют бояться законов. Тому, кто мне скажет, что одно и то же наказание, назначенное и дворянину, и плебею, не является в действительности одинаковым благодаря различию в воспитании и бесчестью, падающему на знатную семью, я отвечу: мерой наказания является не чувствительность виновного, а вред, нанесенный обществу, а этот вред больше, если он причинен лицом, более взысканным судьбой; равенство наказаний может быть только внешним, в действительности же оно воспринимается каждым по-разному. Бесчестье, падающее на семью, может снять суверен, оказав публично невинной семье свое благоволение. И кто же не знает, что доверчивому и впечатлительному народу обряды, действующие на чувства, заменяют доводы разума.*

§ XXII КРАЖИ

Кражи без насилия следовало бы наказывать денежной пеней: кто хочет обогатиться за счет другого, должен потерпеть ущерб в своем имуществе. Но кража является обычно преступлением нищеты и отчаяния, преступлением той несчастной части человечества, которой право собственности (ужасное и, может быть, не необходимое право) оставило возможность одного лишь голого существования. *И так как денежные наказания падают на большее число людей, чем было совершено преступлений, и отнимают хлеб у невинных, чтобы отдать его злодеям,* было бы лучше всего наказывать кражу тем единственным видом рабства, который можно назвать справедливым. Это рабство заключается в передаче лица и его рабочей силы в исключительное распоряжение всего общества, чтобы вознаграждать последнее за несправедливое самовольство, проявленное к общественному договору. Но если кража соединена с насилием, то равным образом и рабство должно быть соединено с телесным наказанием. И раньше меня другие писатели указывали на очевидный вред одинакового наказания кражи с насилием и кражи при помощи хитрости, потому что нелепо при-

равнивать жизнь к сумме денег, хотя бы и большой. Но никогда не мешает указать на то, что почти никогда не выполнялось. Политические машины долее всяких других сохраняют приданное им движение и медленнее всех перестраивают свой ход. Оба указанных вида кражи различны по своей природе, а к политике, несомненно, приложима математическая аксиома, что разнородные величины отделяются друг от друга бесконечностью.

§ XXIII БЕСЧЕСТЬЕ

Личные обиды, затрагивающие честь, т.е. ту справедливую долю уважения, которую гражданин имеет право требовать от других, должны наказываться бесчестьем. Это бесчестье является знаком общественного порицания, лишаящим виновного общественного уважения, доверия отечества и братского, так сказать, отношения, которое внушается обществом. Бесчестье не зависит от произвола закона. Необходимо поэтому, чтобы бесчестье, устанавливаемое законом, следовало бы из природы вещей и соответствовало бы общечеловеческой нравственности или же той, которая зависит от особенных условий, влияющих на народные воззрения и на нацию, в которой эти воззрения утвердились. В противном случае будет утеряно общественное уважение к закону или исчезнут представления о нравственности и честности, которым, несмотря ни на какое красноречие, никогда не удастся побороть влияние примеров. Кто объявляет бесчестными действия, сами по себе безразличные, уменьшает бесчестящее значение действий воистину бесчестных. Нельзя, далее, наказывать бесчестьем слишком часто, ни подвергать ему одновременно большое число лиц: слишком частое обращение к общественному мнению ослабит его силу, а бесчестье, падающее на многих, не падает ни на кого.

** Не следует наказания телесные и болезненные назначать за преступления, порождаемые высокомерием, так как сами страдания только питают эти преступления и увенчивают их славой. Здесь уместны осмеяние и бесчестье — наказания, которые смиряют высокомерие изуверов высокомерием зрителей и оказывают влияние, которое сама истина едва может побороть, и то с большим трудом и не скоро. Так, противопоставляя силу силе, а мнение мнению, мудрый законодатель искореняет в народе удивление и восхищение перед ложными началами, бессмысленное происхождение которых обычно скрыто от простого народа умелыми выводами из этих начал.**

Вот средство избегнуть противоречия с неизменной природой вещей. Не ограниченная временем и действующая постоянно, она

ниспровергает и уничтожает все постановления, несогласные с ней. Этому всеобщему правилу подчинены не только одни изящные искусства, руководящим началом для которых является верное подражание природе. Ему подчинена и сама политика, по крайней мере истинная и долговременная, потому что она является не чем иным, как искусством наилучше управлять и примирять неизменные чувства людей.

§ XXIV ТУНЕЯДЦЫ

Кто возмущает общественное спокойствие, кто не повинуется законам, т.е. условиям, на которых люди и теряют, и выигрывают, должен быть исключен из общества, т.е. изгнан. Вот почему мудрые правительства не терпят, чтобы среди труда и деятельности процветал тот род политического тунеядства, который суровые проповедники отождествляют с праздностью, проистекающей от созданного прилежанием богатства, праздности, необходимой и полезной по мере роста общества и предоставления ему большей свободы. Я называю политическим то тунеядство, которое не приносит обществу пользы ни трудом, ни богатством, которое выигрывает, никогда не теряя, на которое простой народ взирает с бессмысленным благоговением, а мудрец — с презрительным состраданием к его жертвам. Это тунеядство не побуждает к деятельности, необходимой в целях сохранения и умножения жизненных удобств, и предоставляет разыгрываться страстям, порождаемым разногласиями, не менее сильным, чем другие страсти. Тот не политический тунеядец, кто наслаждается плодами пороков или добродетелей своих предков, кто за получаемые удовольствия дает хлеб и средства к существованию трудолюбивой бедности, ведущей мирно молчаливую войну с богатством вместо неопределенной по исходу кровавой войны с властью. Поэтому не суровая и ограниченная добродетель блюстителей нравов, а сам закон должен определять, какое тунеядство подлежит наказанию. **По-видимому, изгнанию должны подвергаться обвиненные в наиболее тяжких преступлениях, виновность которых весьма вероятна, но не доказана безусловно. Но для этого необходим закон, исключаящий всякий произвол и возможно более точный. Этот закон осуждал бы на изгнание того, кто поставит нацию перед роковым выбором: или ей испытывать страх перед ним, или же заставить его самого страдать, не лишая, однако, священного права доказывать свою невиновность. Должны быть более важные основания для изгнания соотечественника, чем иностранца, для изгнания впервые обвиненного, чем обвинявшегося несколько раз. **

§ XXV ИЗГНАНИЕ И КОНФИСКАЦИЯ

Но следует ли лишать имущества подвергнутого изгнанию, исключенного навсегда из общества, членом которого он состоял? Такой вопрос может быть рассмотрен с различных точек зрения. Потеря имущества является более тяжелым наказанием, чем изгнание. Следовательно, в одних случаях должно соразмерно с преступлением назначаться лишение всего или части имущества, в других — нет. Потеря имущества наступает, когда налагаемое законом изгнание уничтожает все отношения между обществом и преступным гражданином. Тогда умирает гражданин, остается человек, и уважение к государству требует, чтобы наступили те же последствия, что и при естественной смерти. Казалось бы поэтому, что имущество, отнятое у преступника, должно перейти скорее к законным его наследникам, чем к государю, ибо смерть и подобное изгнание имеют одинаковое значение для государства. Но я высказываюсь против конфискации имущества не по этим тонким соображениям. Некоторые утверждали, что конфискация сдерживает месть и чрезмерное могущество частных лиц: но они не принимали во внимание, что если наказание и приносит какую-нибудь пользу, то не всегда тем самым оно является справедливым. Чтобы быть таковым, оно должно быть необходимым. Полезная несправедливость не может быть терпима законодателем, который желает закрыть все пути для дремлющей тирании, соблазняющей мимолетным благом и счастьем немногих знатных, презирающей вместе с тем будущую гибель и слезы безвестного множества людей. Конфискация заставляет неимущих отвечать своей головой, заставляет невинных наряду с виновными терпеть наказание и доводит их до необходимости совершать с отчаяния преступления. Что может быть печальнее вида семьи, повергнутой в бесчестье и нищету преступлениями ее главы, тогда как послушание, предписываемое законом семье, не позволяет ей предупреждать их, если бы даже и была к тому возможность!

§ XXVI О ДУХЕ СЕМЕЙСТВЕННОМ

Эти печальные, освященные обычаем несправедливости одобрялись даже наиболее просвещенными людьми и допускались даже в наиболее свободных республиках благодаря тому, что общество рассматривалось скорее как союз семейств, чем союз отдельных лиц. Представим себе сто тысяч человек или двадцать тысяч се-

мейств, каждое из пяти человек, включая и представителя его, его главу. Если общество считается союзом семейств, то в нем двадцать тысяч семейств и восемьдесят тысяч рабов. Если это союз отдельных лиц, то в нем сто тысяч граждан и ни одного раба. В первом случае будет республика, состоящая из двадцати тысяч маленьких монархий. Во втором — республиканский дух будет оживлять не только площади и собрания нации, но и домашние стены, где люди находят большую часть своего счастья или несчастья. В первом случае в самой республике установится мало-помалу монархический дух, так как законы и нравы определяются привычными чувствами членов республики, т.е. главами семейств. Его проявления будут сдерживаться не чувством свободы и равенства, а противоположностью интересов каждого в отдельности. Дух семейственный — дух мелочей и незначительных событий. Дух же, управляющий республиками, покровительствующий общим началам, созерцает события и выделяет главнейшее, имеющее значение для общего блага. В республике семейств сыновья пребывают под властью главы, пока он жив, и вынуждены рассчитывать на его смерть, чтобы вести существование, зависящее исключительно от законов. Привыкнув боязливо повиноваться в самом цветущем и сильном возрасте, когда чувства не столь изменились еще под влиянием страха, порождаемого опытом, — что называется умеренностью, — смогут ли они устоять против пороков, всегда враждебных добродетели, в том возрасте, когда силы слабеют и угасают, когда к тому же отсутствие надежды увидеть плоды своих трудов удерживает от смелых замыслов?

Но если в республике каждый человек — гражданин, то подчинение в семье основывается не на приказе, а на договоре. Как только сыновья по возрасту выйдут из естественной зависимости, в которой держали их слабость и необходимость защиты и воспитания, они становятся свободными гражданами государства. Они подчиняются главе семейства, дабы участвовать в выгодах семейного союза, подобно тому как свободные граждане поступают по отношению к более обширному союзу. В первом случае сыновья, составляющие самую большую и самую полезную часть нации, зависят от произвола отцов. Во втором — нет иной предписанной связи, кроме той священной и нерушимой, что обязывает оказывать взаимную помощь, и той, что следует из благодарности за полученные благодеяния. Такая связь порывается не столько вследствие испорченности человеческого сердца, сколько благодаря злосчастному подчинению, предписываемому законом.

Такие противоречия между законами семьи и основами общества являются вторым источником других противоречий между семейной и общественной нравственностью и порождают поэтому вечную борьбу в душе каждого человека. Первая внушает покорность и страх, вторая — мужество и свободу. Та учит ограничивать

свои благие дела небольшим числом лиц без свободного выбора, эта учит распространять их на все классы людей. Семейная нравственность требует постоянного принесения себя в жертву пустому кумиру, именуемому благом семьи, которое часто не является благом ни для кого из ее членов. Общественная нравственность учит заботиться о личном благосостоянии, не нарушая законов, или побуждает принести его в жертву отечеству, награждая тем чувством воодушевления, которое предшествует подвигу. Такого рода противоречия ослабляют стремление людей к добродетели, которая представляется им чем-то неопределенным и смутным, и в том отдалении, которое порождается неясностью как физических, так и моральных предметов. Как часто человек, вспоминая свои прежние дела, находит с удивлением, что он поступал бесчестно! По мере расширения общества каждый член его становится все меньшей частью целого и в той же мере ослабляется и республиканский дух, если только закон не позаботится о его укреплении. Обществу, как и человеческому телу, поставлены известные пределы, превышение которых необходимо нарушает равновесие его сил. По-видимому, величина государства должна быть в обратном отношении к восприимчивости его граждан. В противном случае при одинаковом росте и той и другой хорошие законы встретят препятствия на пути предупреждения преступлений в том самом благе, которое создано этими законами. Слишком обширная республика может спастись от деспотизма, только разделившись на несколько объединенных в один союз федеративных республик. Но как достигнуть этого? Это мог бы сделать деспотический диктатор, обладающий мужеством Суллы и гением созидания, равным его разрушительному гению. Если такой человек будет честолюбив, то его ожидает вечная слава; если он будет философ, то благословения сограждан примирят его с потерей власти, если он вообще не равнодушен к их неблагодарности. По мере того как слабеют чувства, связывающие нас с нацией, усиливаются чувства к предметам, нас окружающим. Вот почему при наиболее тяжелом деспотизме дружба является наиболее длительной, а семейные добродетели, всегда посредственные, становятся наиболее распространенными или, скорее, единственными. Каждый может на основании этого судить, насколько ограничены были взгляды у большинства законодателей.

§ XXVII

МЯГКОСТЬ НАКАЗАНИЙ

Ход моих мыслей отвлек меня, однако, от предмета моего исследования, к чему я и должен поспешить. Одно из самых дей-

ствительных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности и, следовательно, в бдительности властей и в той суровости неумолимого судьи, которая только тогда становится полезной добродетелью, когда он применяет кроткие законы. Уверенность в неизбежности хотя бы и умеренного наказания произведет всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемым надеждой на безнаказанность. Даже самое незначительное, но неизбежное зло всегда внушает страх людям, тогда как надежда — этот дар неба, часто заменяющий все, — всегда отдаляет мысль о более жестоких наказаниях, в особенности когда ее усиливает безнаказанность, вызываемая часто корыстолюбием и слабостью. Самая жестокость наказания приводит к тому, что тем более прилагается стараний избежать его, чем больше угрожающее зло; она приводит к тому, что для избежания наказания за одно преступление совершается множество преступлений. В те времена и в тех странах, где были наиболее жестокие наказания, совершались и наиболее кровавые и бесчеловечные действия, ибо тот же самый дух зверства, который водил рукой законодателя, управлял рукой и отцеубийцы и разбойника. На престоле он диктовал железные законы жестоким, но послушным рабам, а в темных недрах частной жизни он побуждал истреблять тиранов, чтобы на место их создавать новых.

Чем более жестокими становятся наказания, тем более ожесточаются души людей, всегда подобно жидкостям стремящиеся стать на один уровень с предметами, их окружающими, и всегда живая сила страстей приводит к тому, что по истечении сотни лет жестоких наказаний колесование внушает не больше страха, чем прежде внушала тюрьма. Для достижения цели наказания достаточно, чтобы зло наказания превышало выгоду, достигаемую преступлением, и в этот излишек зла должны входить также неизбежность наказания и потеря выгод, которые могло бы доставить преступление. Все, что свыше этого, является излишним и, следовательно, тираническим. Поведение людей определяется повторными представлениями о зле известном, а не о том зле, которого они не знают. Представим себе две нации. У одной из них в лестнице наказаний, которая соответствует лестнице преступлений, высшим наказанием является вечное рабство, а у другой — колесование: я утверждаю, что в первой будет испытываться такой же страх перед высшим наказанием, как и во второй. И если бы имелось какое-нибудь основание установить для первой нации высшие наказания, имеющиеся во второй, то по тому же самому основанию пришлось бы усилить наказания и для последней и перейти постепенно от колесования к более длительным и изысканным мучениям, вплоть до высших тонкостей той науки, которая слишком хорошо известна тиранам.

Жестокость наказаний влечет за собой два других губительных последствия, которые противоречат самой цели предупреждения преступлений. Первое состоит в том, что нелегко сохранить необходимую соразмерность между преступлением и наказанием, потому что, как бы изобретательная жестокость ни разнообразила виды наказаний, все же нельзя перейти пределы, поставленные чувствительности человеческого тела. Если будет достигнут этот предел, то для преступлений, еще более вредных и более ужасных, не нашлось бы соответствующего наказания, которое было бы необходимым для их предупреждения. Второе последствие состоит в том, что жестокость наказаний порождает даже безнаказанность преступлений. Как в добре, так и в зле людям поставлены известные границы. Зрелище, слишком жестокое для человечества, может быть проявлением преходящей ярости, но не постоянной системы, как это подобает быть законам. Если законы действительно жестоки, то они или изменяются, или же ими самими порождается роковая безнаказанность.

Кто не содрогнется от ужаса, читая в истории о варварских и бесполезных мучениях, которые хладнокровно изобретались и применялись людьми, называвшими себя мудрыми? Кто не будет возмущен до глубины души, видя, как бедствия, сознательно вызываемые или терпимые законами, всегда благоволившими немногим и притеснявшими многих, принуждают тысячи несчастных возвращаться с отчаяния в первобытное состояние природы, видя, как их обвиняют в невозможных преступлениях, созданных трусливым невежеством, или только за то, что они остались верными своим убеждениям, видя, как люди, одаренные такими же чувствами и, следовательно, такими же страстями, предают этих несчастных с соблюдением измышленных обрядностей медленным мучениям на потеху фанатической толпы?

§ XXVIII О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Эта бесцельная расточительность наказаний, никогда не делавшая людей лучшими, побудила меня исследовать, является ли смертная казнь действительно полезной и справедливой в хорошо устроенном правлении. Что это за право убивать себе подобных, присвоенное людьми? Оно, несомненно, не является тем правом, на котором основаны верховная власть и законы. Они не что иное, как сумма самых малых частиц личной свободы каждого, они представляют общую волю, являющуюся объединением всех отдельных волей. Но кто захотел бы предоставить другим распоряжаться его жизнью? Возможно ли, чтобы, жертвуя самой малой частицей своей

свободы, тем самым приносили в жертву величайшее из всех благ — жизнь? Но если бы это и было так, то как это согласовать с тем, что человек не вправе сам лишиться себя жизни? А он должен был иметь это право, если мог передать его другому лицу или целому обществу.

Следовательно, смертная казнь не может, как я показал, быть *правом* и не является поэтому таковым. Она является войной нации с гражданином, считающей необходимым или полезным уничтожить его жизнь. Но если я докажу, что эта смерть ни полезна, ни необходима, то я выиграю дело человечества.

Смерть гражданина может считаться необходимой по двум только причинам: во-первых, когда, даже лишенный свободы, он обладает такими связями и таким могуществом, что это угрожает безопасности нации и его существование может вызвать переворот, опасный для установленного образа правления. Следовательно, смерть гражданина является необходимой, когда нация возвращает или теряет свою свободу, или во время анархии, когда беспорядок заменяет законы. Но при спокойном господстве законов, при таком образе правления, который соответствует желаниям всей нации, который и во вне и внутри опирается на силу и на общественное мнение, имеющее, быть может, большее значение, чем сама сила, там, где власть принадлежит только истинному суверену, где богатством покупаются только удовольствия, а не полномочия, — я не вижу никакой необходимости уничтожать гражданина, если только смерть его не будет действительным и единственным средством удержать других от совершения преступления. Вот второе основание, по которому смертная казнь может считаться справедливой и необходимой.

Если опыт всех веков, в течение которых высшее наказание никогда не останавливало людей, решившихся посягнуть на общество, если пример римских граждан и двадцать лет царствования императрицы Московии — Елизаветы, подавшей отцам народов знаменитый пример, равный по меньшей мере многим победам, купленным кровью сынов отечества, — не убедят людей, для которых язык разума всегда подозрителен, а действителен только язык власти, то достаточно будет обратиться к природе человека, чтобы почувствовать истину моих утверждений.

Не суровость, а продолжительность наказания производит наибольшее влияние на душу человека, потому что на чувства наши легче и устойчивее воздействуют более слабые, но повторяющиеся впечатления, чем сильные, но быстро преходящие потрясения. Привычке подвластны все существа, одаренные чувствами. И подобно тому как в силу привычки человек говорит, ходит и действует, так и нравственные идеи закрепляются в душе благодаря длительным и повторяющимся впечатлениям. Наиболее крепкой уздой, сдерживающей от преступлений, является не ужас-

ное, но мимолетное зрелище казни злодея, а длительный и бедственный пример, когда человек, лишенный свободы и превращенный в рабоче животное, своим трудом возмещает вред, нанесенный им обществу. Такое частое, а потому и действующее напоминание — *я сам буду так долго влачить столь жалкое существование, если совершу подобное преступление*, — гораздо сильнее, чем мысль о смерти, всегда представляющейся людям в туманном отдалении.

Как ни сильно впечатление, производимое смертной казнью, оно подлечит быстрому забвению, свойственному человеку даже в наиболее важных делах, в особенности под влиянием страстей. Общее правило: сильные страсти овладевают людьми, но не надолго и могут поэтому обыкновенных людей превратить и в изнеженных персов, и в спартанцев. Но при свободном и спокойном правлении впечатления скорее должны быть более частыми, чем сильными.

Смертная казнь для большинства является зрелищем, у некоторых она вызывает чувство сострадания, смешанное с негодованием. Оба эти чувства больше занимают душу зрителей, чем спасительный ужас, на который рассчитывает закон. Но при умеренных и длящихся наказаниях господствует последнее чувство, так как оно является единственным. Предел, который законодатель должен поставить суровости наказания, по-видимому, находится там, где сострадание начинает преобладать над всеми другими чувствами зрителей казни, совершаемой скорее для них, чем для преступника.

* Чтобы быть справедливым, наказание не должно превышать меру строгости, достаточную для удержания людей от преступлений. Нет такого человека, который обдуманно согласился бы на полную и вечную потерю своей свободы, — какие бы выгоды ни сулило ему преступление. Пожизненное рабство, заменяющее смертную казнь, явилось бы поэтому достаточно суровым наказанием, чтобы удержать от преступления и самого решительного человека. Прибавлю: оно даже страшнее, чем смертная казнь. Очень многие взирают на смерть с твердостью и спокойствием: кто из фанатизма, кто из тщеславия, почти всегда сопровождающего человека за порог могилы, кто делая последнюю отчаянную попытку — или погибнуть, или прекратить свои бедствия. Но ни фанатизм, ни тщеславие не устоят перед цепями и кандалами, перед ударами палки, перед ярмом и железной клеткой; при этом отчаявшийся на преступление увидит, что его страдания не кончатся, а только начнутся. Наш дух способен скорее выдержать насилие и самые крайние, но преходящие страдания, чем длительное и непрерывное томление, потому что он может в первом случае напрячь себя, так сказать, на одно мгновение, но всей его упругой силы не хватит, чтобы перенести второе. Каждый урок, который преподается

народу выполнением смертной казни, предполагает новое преступление. При пожизненном рабстве достаточно одного преступления, чтобы дать многочисленнейшие и длящиеся примеры. И если важно, чтобы люди часто видели проявление могущества законов, то смертная казнь должна применяться через небольшие промежутки времени. Следовательно, преступления должны совершаться часто; следовательно, чтобы это наказание было полезно, необходимо, чтобы оно не производило на людей всего того впечатления, которое оно должно было бы произвести, т.е. оно должно быть одновременно и полезным, и бесполезным. Мне скажут, что вечное рабство столь же мучительно, как и смертная казнь, и поэтому одинаково жестоко. На это я отвечу, что если сложить все злосчастные минуты рабства, то последнее, быть может, окажется даже более жестоким. Но эти минуты расплывлены на пространство целой жизни, тогда как вся сила воздействия смертной казни проявляется в одно мгновение. В том и заключается преимущество рабства как наказания, что оно более ужасает того, кто его наблюдает, чем того, кто ему подвергнут. Первому все злосчастные переживания представляются во всей их совокупности; несчастья настоящей минуты отвлекают второго от мыслей о будущих страданиях. Первому воображение рисует все страдания в увеличенном виде, переносящий эти страдания находит и силу, и утешение, которые неведомы зрителям, в которые они не верят, наделяя окрепший дух несчастного своей чувствительностью.*

Вот приблизительно как рассуждает разбойник или убийца, для которых противовесом, удерживающим от нарушения законов, служит лишь виселица или колесо. Знаю, что способность выражать свои чувства является искусством, которое дается только воспитанием. Но если разбойник и не в состоянии хорошо выразить правила своего поведения, из этого не следует, чтобы он ими не руководствовался. *Что это за законы, которые я должен уважать и которые целой пропастью отделяют меня от богатого? Он отказывается подать мне грош, который я у него прошу, и оправдывает себя тем, что посылает меня на работу, которой сам не знает. Кто создал эти законы? Сильные и богатые, которые никогда не удостоили своим посещением печальную хижину бедняка, которым никогда не приходилось делить кусок заплесневелого хлеба под крик ни в чем не повинных голодных детей и слезы жены. Порвем эти узы, гибельные для большинства и выгодные немногим праздным тиранам. Поразим несправедливость в самых ее корнях. Я возвращусь в состояние естественной независимости, буду жить свободным и счастливым, пользуясь плодами своей храбрости и ловкости. Наступит, быть может, день скорби и раскаяния, но это не будет долго продолжаться, и одним днем мучений я расплачусь за многие годы свободы и наслаждения. Став предводителем немногих, я исправлю ошибки судьбы, и тираны будут бледнеть и дрожать перед тем, кого они в ос-*

корбительном высокомерии считали ниже своих лошадей, ниже своих собак. Злодей, употребляющий все во зло, вспомнит тут и религию. Предоставляя ему легкую возможность покаяния и почти несомненное вечное блаженство, она намного ослабляет ужас последней трагедии.

Но тот, кто представит себе, что ему придется провести долгие годы, а может быть и всю жизнь, в рабстве, в страданиях на виду своих сограждан, в общении с которыми он жил свободным, кто представит себя рабом законов, которые его охраняли, — тот не без пользы для себя сравнит все эти несчастья с неизвестностью исхода своих преступлений и с краткостью времени, в течение которого он мог бы воспользоваться их плодами. Длительный пример тех, которые представляются ему сейчас жертвами своей собственной непредусмотрительности, производит на него более сильное впечатление, чем зрелище казни, которое его скорее ожесточит, чем исправит.

Смертная казнь не может быть полезна, потому что она подает людям пример жестокости. Если страсти или необходимость воевать научили проливать человеческую кровь, то законы, задача которых смягчать нравы людей, не должны были бы подавать лишней пример жестокости, тем более печальный, что убийство в силу закона совершается хладнокровно и с соблюдением формальностей. Мне кажется нелепым, что законы, которые являются выражением общей воли, которые запрещают и карают убийство, сами совершают его и для отвращения граждан от убийства сами предписывают совершать его публично. Какие законы являются истинными и наиболее полезными? Те договоры и те условия, которые каждый готов был бы соблюдать и предлагать в то время, когда смолкает голос частного интереса, которому всегда повинуются, или же когда последний сочетается с общественным интересом. Какие чувства внушает к себе смертная казнь? Мы познаем их в той враждебности и презрении, с которыми каждый смотрит на палача. А ведь палач — только невинный исполнитель общественной воли, добрый гражданин, содействующий общему благу, необходимое орудие общественной безопасности внутри страны, подобно доблестным солдатам, охраняющим ее вовне. В чем источник этого противоречия? И почему неискоренимо в людях, к стыду разума, это чувство? Потому что в той сокровеннейшей части души, в которой более чем где-либо живы еще начала первобытной природы, люди всегда сохраняли веру, что над их собственной жизнью никто не властен, за исключением той необходимости, которая своим железным скипетром управляет вселенной.

Что должны думать люди, видя, как мудрые власти и величественные жрецы правосудия с равнодушным спокойствием заставляют преступника медленно шествовать на место казни? Что они должны думать, видя, как несчастный содрогается в последнем

ужасе, ожидая рокового удара, а судья с бесчувственной холодностью, а может быть и с тайной радостью от сознания своей власти, удаляется наслаждаться удовольствиями и приятностями жизни? Увы, скажут они, *эти законы служат только для прикрытия насилия. Обдуманнные и жестокие обрядности, являющиеся только условным языком, помогают с большей безопасностью уничтожать нас, принося в жертву ненасытному идолу деспотизма.*

Нам проповедовали, что убийство — ужасное злодеяние, а мы видим, что оно совершается хладнокровно и без отвращения. Воспользуемся этим примером. Насильственная смерть казалась нам по тому, как ее нам описывали, ужасным зрелищем, а мы видим, что это дело минуты. Насколько же она будет легче для того, кто, не ожидая ее, будет избавлен почти от всего, что есть в ней мучительного? Таковы пагубные и ложные выводы, к которым, хотя бы только смутно сознавая их, приходят люди, склонные к преступлениям, — люди, для которых злоупотребление религией больше значит, чем сама религия.

Если в опровержение мне укажут, что почти во все времена почти у всех наций устанавливалась смертная казнь за некоторые преступления, отвечу, что эти примеры ничего не значат перед лицом истины, которая не погашается никакой давностью. Я отвечу, что история человечества вызывает представление о необозримом море заблуждений, среди которых встречаются немногие, разделенные большими пространствами, неясные истины.

Человеческие жертвоприношения были в обычае почти у всех наций, но кто же осмелится оправдывать их? Если только немногие общественные союзы и только на короткое время воздерживались от смертной казни, то это скорее говорит в мою пользу: такова участь великих истин, подобно молнии озаряющих лишь на один миг мрачную ночь, которая окружает человечество. Не пришло еще то счастливое время, когда истина, как до сей поры заблуждение, станет достоянием наибольшего числа людей. От этого всеобщего закона изъяты были до сих пор только те истины, которые бесконечная мудрость пожелала выделить из других, открыв их нам путем откровения.

Голос философа слишком слаб, чтобы возвыситься над воплями и криком того множества людей, поводырем которых является слепая привычка. Но немногие мудрецы, рассеянные по лицу земли, в глубине своего сердца откликнутся мне. И если бы истина, несмотря на бесконечные препятствия, преграждающие ей путь к монархам, вопреки их желаниям все же достигла бы престола, — пусть знают, что она появляется, сопутствуемая тайными пожеланиями всех людей. Пусть знают, что перед лицом ее померкнет слава завоевателей и что справедливое потомство отведет ей первое место среди мирных трофеев Титов, Антонинов и Траянов.

Счастливым было бы человечество, если бы впервые для него законы издавались теперь, когда мы видим восседающими на престолах Европы благодетельных монархов, покровительствующих мирным добродетелям, наукам и искусствам, отцов своего народа, увенчанных гражданами. Умножение их власти составляет счастье подданных, устрояя деспотизм, тем более жестокий, чем менее в себе он уверен, подавляющий пожелания народа, всегда чистосердечные и всегда плодотворные, когда они смогут дойти до престола. Если — замечу — они и оставляют в силе обветшалые законы, то это происходит от того, что бесконечно трудно удалить ставшую почтенной вековую ржавчину заблуждений. Вот почему просвещенные граждане должны еще более желать постоянного усиления их власти.

§ XXIX

О ВЗЯТИИ ПОД СТРАЖУ

Существует заблуждение, столь же распространенное, сколь и противоречивое цели существования общества, т.е. личной безопасности, заключающееся в том, что от усмотрения судьи, который является лишь исполнителем закона, зависит заключить гражданина в тюрьму, под ничтожным предлогом лишить свободы недруга и оставить безнаказанным друга невзирая на самые тяжкие улики его виновности. Тюремное заключение является наказанием, которое по необходимости, в отличие от всех других наказаний, должно предшествовать установлению преступления. Но этот отличительный признак не лишает его другого существенного свойства наказания, т.е. что только закон должен определять случаи, в которых человек заслуживает наказания. Следовательно, должны быть в законе указаны те улики преступления, которые оправдывают задержание обвиняемого, его допрос и наказание. Народная молва, побег, внесудебное признание, признание сообщника в преступлении, угрозы и постоянная вражда с потерпевшим, вещественные доказательства и тому подобные улики являются достаточным основанием, чтобы подвергнуть гражданина задержанию. Но эти основания должны быть установлены законом, а не судьями, решения которых, если они только не являются частными положениями общего правила, содержащегося в общественном Уложении, всегда направлены против личной свободы. По мере того как наказания будут смягчены, по мере того как мрак и голод покинут тюрьму, а сострадание и человечность проникнут за железные двери и будут властвовать над неумолимыми и ожесточенными служителями правосудия, законы могут довольствоваться все

более слабыми уликами для задержания. На обвинявшегося в преступлении, заключенного в тюрьму и затем оправданного не должно падать какое-либо бесчестье. Немало было римлян, которые обвинялись в тяжчайших преступлениях и которым затем, после признания их невинными, народ оказывал почет избранием на высшие должности. Но почему же столь различна судьба обвиняемого в наше время? По-видимому, оттого, что в теперешней уголовной системе идея силы и власти господствует, по общему мнению, над идеей справедливости; оттого, что в одну и ту же яму бросают без разбору и обвиняемых, и осужденных; оттого, что тюрьма является скорее местом наказания, чем содержания обвиняемых под стражей,** и оттого, что внутренняя сила, охраняющая законы, отделена от внешней, защищающей престол и нацию, вместо того чтобы быть объединенной. В таком случае первая, имея общую опору в законах, сочеталась бы с судебной властью, но не зависела бы от последней непосредственно, а слава, сопровождающая блеск и пышность военного сословия, смывала бы бесчестье, связываемое — как и все другие чувства народа — скорее с внешностью, чем с существом. Доказано, что в общественном мнении военные тюрьмы не приносят столько бесчестья, как судебные.** Продолжают еще жить в народе, в обычаях и в законах, отставая на века от теперешнего просвещения нации, продолжают еще жить варварские чувства и дикие идеи наших предков — диких звероловов.

Некоторые высказывали мнение, что преступление, т.е. действие, противное законам, где бы оно ни было совершено, должно быть наказано. Как будто бы состояние подданства неизменно, т.е. равносильно и даже хуже состояния рабства. Как будто бы можно оставаться подданным одного государства, живя в другом, и одновременно подчиняться двум суверенам, двум законам, часто противоречащим друг другу. Некоторые равным образом думают, что злодеяние, совершенное, например, в Константинополе, может быть наказано в Париже, по тому отвлеченному основанию, что оскорбивший человечество заслуживает ненависть всего человечества и всеобщее отвращение. Как будто бы судьбы не являются скорее мстителями за нарушение договоров, связывающих людей, чем за оскорбление их чувствительности. Местом наказания является только место совершения преступления, ибо только там и нигде иначе принуждены люди причинять зло одному человеку, чтобы предотвратить зло от всего общества. Злодей, не нарушивший договоров того общества, членом которого он не является, может вызывать к себе страх. Он может быть поэтому исключен и изгнан высшей властью этого общества. Но он не может быть формально наказан по законам, карающим человека за нарушение договоров, а не за его внутреннюю испорченность.

Обычно за более легкие преступления виновные наказываются мраком тюрьмы. Или же их наказывают рабством в отдаленной местности — почти бесполезным, потому что они должны служить примером для той нации, против которой они ничего не совершили. Поскольку люди не так легко решаются на совершение наиболее тяжких преступлений, публичное наказание за тяжкое злодеяние будет рассматриваться большей частью их как нечто необычное, что с ними не может случиться. Но публичное наказание более легких преступлений, к которым люди скорее склонны, произведет впечатление, которое, отвращая их от более легких преступлений, удержит их от более тяжких. Наказания должны соразмеряться с преступлениями не только в отношении своей тяжести, но и способа их выполнения. Некоторые освобождают от наказания за маловажные преступления, если потерпевший простит виновного. Такого рода действия соответствуют требованиям милосердия и человечности, но противны общественному благу. Отдельный гражданин может отказаться от возмещения вреда, нанесенного ему, но его прощение не устраняет необходимости показать другим пример. Право наказания не является правом одного, а всех граждан или суверена. Отдельный гражданин может отказаться только от принадлежащей ему части права, но он не может сделать недействительной ту его часть, которая принадлежит другим.

§ XXX

ПРОЦЕСС И ДАВНОСТЬ

Когда доказательства собраны и достоверность преступления установлена, необходимо предоставить обвиняемому срок и средства, пригодные, чтобы оправдать себя. Но срок должен быть настолько непродолжителен, чтобы не пострадала незамедлительность наказания, что, как мы видели, является одним из главнейших средств обуздания преступлений. Неправильно понимаемая любовь к человечеству не мирится как будто с этой краткостью сроков; всякое сомнение исчезнет, однако, если мы вспомним, что опасность, которым подвергается невинность, возрастают от недостатков законодательства.

Но определенные сроки как для защиты, так и для доказывания преступлений должны быть указаны законом. Судья превратился бы в законодателя, если бы ему было предоставлено устанавливать срок, необходимый для доказывания преступлений. Тяжкие преступления, память о которых долго сохраняется, при доказанности не должны покрываться никакой давностью в пользу скрывшегося преступника. Но в меньших преступлениях, оставшихся неизвестными, давность должна положить конец неопре-

деленному состоянию гражданина. Мрак, которым долгое время было окутано преступление, устраняет опасность примера безнаказанности и предоставляет между тем преступнику возможность исправиться. Мне достаточно указать лишь на эти положения, потому что точные пределы могут быть установлены только законодательством, с учетом условий данного общества. Добавлю только: если доказано, что умеренность в наказаниях полезна нациям, то законы, которые уменьшают или увеличивают сроки давности или расследования в соответствии с тяжестью преступлений, зачитывая самое содержание под стражей или добровольное удаление из страны в наказание, могли бы легко распределить немногие умеренные наказания на большое число преступлений.

Но эти сроки не должны возрастать в точном соответствии с тяжестью преступлений, потому что вероятность совершения преступлений обратно пропорциональна их жестокости. Для расследования сроки должны, следовательно, сокращаться, а для давности — увеличиваться. Это, по-видимому, противоречит высказанному, так как может получиться, что если время, проведенное под стражей, или давность, протекшая до приговора, будут зачитываться в наказание, то неодинаковые преступления будут наказываться одинаково. Чтобы разъяснить читателю мою мысль, я разделю преступления на два рода. К первому относятся убийство и все другие тяжкие злодеяния, ко второму — меньшие преступления. Такое разделение имеет основание в самой природе преступлений. Безопасность жизни является естественным правом, безопасность имущества — общественным правом. Число побуждений, заставляющих людей идти против природного чувства сострадания, значительно меньше числа побуждений, заставляющих их в силу естественного стремления к счастью нарушать права, покоящиеся не в глубине сердца, а в общественных условиях. Так как вероятность совершения этих двух родов преступлений в высшей степени различна, необходимо к каждому из них применять различные правила. Для более тяжких, а потому и более редких преступлений сроки расследования, вследствие большей вероятности невинности обвиняемого, должны быть сокращены. Срок же давности должен быть увеличен, потому что только с окончательным приговором о виновности или невинности кого-либо утрачивается надежда на безнаказанность, вред от которой тем больше, чем тяжелее преступление. А в менее важных преступлениях, при которых уменьшается вероятность невинности обвиняемого, сроки расследования должны быть увеличены, но сроки давности, так как вред от безнаказанности уменьшается, должны быть сокращены. Подобное деление преступлений на два рода было бы недопустимо, если бы вред, проистекающий от безнаказанности, уменьшался в той же степени, с какой увеличивается вероятность совершения преступлений. *Следует заметить, что подсудимый,

виновность или невинность которого не доказана, хотя и освобождается за недостатком доказательств, может в течение срока давности, установленном законом, если откроются новые улики, предусмотренные в законе, вновь подвергнуться задержанию и расследованию за то же самое преступление. Вот средство, которое, как мне кажется, пригодно для ограждения и безопасности, и свободы граждан. Слишком легко отдать предпочтение одной за счет другой, если оба эти блага, составляющие неотъемлемое и одинаковое достояние каждого гражданина, не будут защищены — одно от явного или скрытого деспотизма, другое — от буйной народной анархии.*

§ XXXI

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ТРУДНО ДОКАЗУЕМЫЕ

Тому, кто вдумается в эти начала, но упустит из виду, что разум почти никогда не был законодателем наций, странным покажется, почему для наиболее жестоких или наиболее сокровенных, или химерических, т. е. наиболее невероятных, преступлений довольствуются предположениями и наиболее слабыми и сомнительными доказательствами. Как будто законы и судьи заинтересованы не в том, чтобы отыскать истину, но в том, чтобы доказать преступление. Как будто опасность осудить невинного не возрастает, когда вероятность невинности выше, чем вероятность виновности. У большинства людей отсутствует мужество, одинаково необходимое как для великих преступлений, так и для великих подвигов. Видимо, по этой причине и те и другие наблюдаются одновременно у тех наций, которые сохраняют свое существование скорее благодаря деятельности правительства и страстям, направленным к общественному благу, чем благодаря своей величине, или в силу того, что их законы всегда отличны. У наций последнего рода ослабленные страсти, по-видимому, способствуют скорее сохранению, чем улучшению образа правления. Отсюда следует одно важное заключение: крупные преступления, совершающиеся в какой-либо нации, не всегда служат доказательством ее упадка.

Имеются преступления, часто повторяющиеся в обществе, но которые трудно доказать. В этих преступлениях трудность доказывания рассматривается как вероятность невинности. Поскольку же вред, проистекающий от безнаказанности, тем менее может иметь значение, что распространенность этих преступлений зависит не столько от безнаказанности, сколько от других причин, то должны быть одинаково уменьшены сроки как для расследования, так и для давности. Между тем прелюбодеяние, греческая любовь, с трудом доказуемые, являются преступлениями, к которым, со-

гласно установившимся правилам, применяются тиранические презумпции, как бы доказательства и полудоказательства (как будто человек может быть *наполовину виновен, т.е. наполовину наказан, а наполовину оправдан*). Именно по этим преступлениям пытка проявляет свою жестокую власть над подсудимым, свидетелями и даже над семьей несчастного, как тому учат с возмутительным хладнокровием ученые, являющиеся для судей правилом и законом.

С точки зрения политической прелюбодеяние является преступлением, которое порождается и направляется двумя причинами: изменчивыми законами людей и могущественнейшим влечением одного пола к другому. Влечение это во многом сходно со всемирной силой тяготения, оно уменьшается с увеличением расстояния. И подобно тому как сила тяготения изменяет все движения тел, так и влечение, покуда оно продолжается, изменяет почти все движения души. Различие между ними в том, что тяготение уравновешивается препятствиями, влечение же, по общему правилу, с ростом их усиливается.

Если бы я обращался к нациям, не озаренным светом религии, то я указал бы еще на одно важное различие между этим и другими преступлениями. Оно порождается от злоупотребления постоянной и общей всему человечеству потребностью, потребностью предшествовавшей обществу и даже вызвавшей его образование. Другие же преступления, разрушающие общество, вызываются скорее мимолетными страстями, чем естественной потребностью. Для знающего историю и людей эта потребность представляется — поскольку речь идет об одном и том же климате — всегда равной определенной постоянной величине. Если это верно, то следует считать бесполезными и даже вредными законы и обычаи, пытающиеся уменьшить эту общую сумму, потому что их действие сказалось бы в том, что одна часть граждан была бы обременена и своими, и чужими потребностями. Напротив, были бы мудрыми те законы, которые, следуя, так сказать, легкому склону равнины, разложили и разветвили бы общее действие этой потребности на столько равных малых частей, что одновременно предупредили бы как засуху, так и наводнение. Супружеская верность всегда пропорциональна количеству браков и свободе их заключения.

Там, где господствуют наследственные предрассудки, где родительская власть заключает или не допускает браки, там волокитство нарушает их тайно, не обращая внимания на обычную мораль, которой полагается возмущаться последствиями, снисходительно относясь к их причинам. Но эти соображения излишни для тех, кто, исповедуя истинную религию, следует более высоким побуждениям, сдерживающим силу естественных влечений. Подобное преступление свершается так быстро и таинствен-

но, оно так прикрыто брошенным на него самим законом покрывалом — необходимым, но прозрачным и, вместо того чтобы уменьшать, увеличивающим ценность предмета, поводы к нему так легки, а последствия так неопределенны, что во власти законодателя скорее предупредить, чем исправить его действие. Общее правило: для всех преступлений, которые по своей природе должны большею частью оставаться безнаказанными, само наказание становится подстрекательством. Особенность нашего воображения заключается в том, что если препятствия не непреодолимы, если они не чрезмерны по сравнению с леностью духа, присущей каждому человеку, то они еще больше распалют воображение и увеличивают значение предмета, потому что являются столькими же преградами, мешающими блуждающему и непостоянному воображению отвлечься от предмета. Понуждаемое охватить все соотношения воображение задерживается на более приятном, к которому, естественно, душа наша устремляется скорее, чем к мрачному и печальному, чего она избегает и от чего удаляется.

Аттическая любовь, наказуемая столь сурово и за которую так легко подвергают пытке, торжествующей над невинностью, вызывается не столько потребностями одинокого свободного человека, сколько страстями человека, живущего в обществе и рабстве. Это преступление черпает свою силу не столько в пресыщении удовольствиями, сколько в том воспитании, которое, желая сделать людей полезными для других, начинает с того, что делает их бесполезными для самих себя, которое проводится в домах, куда собирают пылкую молодежь. Не находя никакого другого выхода, все развивающиеся природные силы растрачиваются без пользы для человечества, вызывая тем самым даже преждевременную старость.

Детубийство является также следствием неизбежного противоречия, в которое поставлена женщина, ставшая жертвой своей слабости или насилия. Ей нужно выбрать позор или смерть существа, не способного чувствовать свое несчастье. Как ей не предпочесть эту смерть неизбежным страданиям, ожидающим ее и ее несчастный плод? Лучшим средством предупредить это преступление были бы законы, действительно охраняющие слабость от тирании, ополчающейся против пороков, если их нельзя прикрывать плащом добродетели.

Я не хочу ослаблять справедливый ужас, которого заслуживают эти преступления. Но, указывая на их причины, я считаю себя вправе сделать следующий общий вывод: наказание за преступление не может быть признано справедливым (или, что то же, необходимым), пока для предотвращения последнего закон не употребил наилучшие средства, доступные нации при данных условиях.

§ XXXII САМОУБИЙСТВО

Самоубийство является преступлением, к которому, казалось бы, не может применяться наказание в собственном смысле, потому что оно поражает или невинных, или холодное и бесчувственное тело. Если в последнем случае наказание производит на живых людей такое же впечатление, как бичевание статуи, то в первом оно является несправедливым и тираническим, так как политическая свобода необходимо предполагает, что наказание бывает только личным. Люди слишком любят жизнь, и все, что их окружает, укрепляет в них эту любовь. Их слишком привлекают обольстительное представление о наслаждении и сладчайшее заблуждение смертных — надежда, благодаря которой люди жадно пьют чашу зла, если к нему примешано несколько капель добра. Нечего поэтому опасаться, что неминуемая безнаказанность самоубийства окажет на людей какое-либо влияние. Кто боится страданий, повинуется законам, но смерть уничтожает в теле все источники страдания. Что же тогда может удержать отчаявшуюся руку самоубийцы?

Лишающий себя жизни наносит меньший вред обществу, чем покидающий навсегда его пределы, потому что тот оставляет ему все свое достояние, этот же уносит часть его с собой. Поскольку, далее, сила общества зависит от числа граждан, то покидающий его и переселяющийся к соседней нации наносит своему обществу двойной вред по сравнению с тем, кто устраняет себя из него своей смертью. Вопрос сводится, таким образом, к тому, полезно или вредно для нации предоставлять своим членам постоянную свободу покинуть ее.

Не должны издаваться законы, не вооруженные силой, ни законы, несостоятельность которых вызывается природой обстоятельств. Так как над умами царит общественное мнение, которое воспринимает лишь длительное и косвенное воздействие законодателя, противясь непосредственному и насильственному, то бесполезные и презираемые людьми законы заражают своей слабостью и более благодетельные законы. Они рассматриваются тогда не как хранилище общественного блага, а скорее как препятствия, подлежащие устранению. Если же, как это указывалось, нашим чувствам поставлены пределы, то чем больше уважения питают люди к предметам, чуждым закону, тем меньше его остается на долю самого закона. Мудрый устроитель общественного счастья может из этого положения сделать несколько полезных выводов. Если бы я стал их излагать, то это слишком удалило бы меня от моей задачи — доказать бесполезность превращения государства в

тюрьму. Такой закон бесполезен: если только страна не отделена от всех других недоступными горами или несудоходными морями, то возможно ли закрыть доступ ко всем точкам ее окружности и усторожить всех ее сторожей? Успевший взять с собой все свое достояние не может быть наказан. Раз такое преступление совершено, оно не может уже быть наказано; наказывать же его раньше — значило бы наказывать волю людей, а не их действия, повелевать их намерениями — этой наиболее свободной от власти человеческих законов частью человека. **Наказывать отсутствующего отобранием оставшегося имущества — значило бы приостановить всякую торговлю между нациями, причем нельзя предотвратить неизбежные и легко совершаемые уловки, не относясь тиранически к договорам. ** Наказывать виновного по возвращении — значило бы препятствовать исправлению зла, причиненного обществу, и повело бы к тому, что покинувшие общество никогда бы в него не возвращались. Само запрещение оставлять страну только усиливает желание членов нации покинуть ее и удерживает иностранцев от приезда в нее.

Что должны мы думать о правительстве, у которого кроме страха нет других средств удержать в отечестве людей, естественно привязанных к нему первыми впечатлениями своего детства? Самое верное средство удержать граждан в отечестве заключается в улучшении благоденствия каждого из них. Подобно тому как прилагаются все усилия, чтобы торговый баланс был в нашу пользу, так и главнейшая забота суверена и нации заключается в том, чтобы сумма счастья по сравнению с окружающими ее нациями была бы больше, чем где бы то ни было. Удовольствия, доставляемые роскошью, не являются главными условиями этого счастья, хотя роскошь и необходимое средство против неравенства, возрастающего с успехами нации и без которого богатство скопилось бы в одних руках. Там, где размеры страны растут в большей степени, чем ее население, роскошь благоприятствует деспотизму, **потому что чем население реже, тем слабее промышленность, а чем слабее промышленность, тем больше бедность зависит от богатства, тем труднее и тем менее опасно объединение угнетаемых против угнетателей. Она благоприятствует деспотизму и потому, что почести, должности, отличия, зависимость, делающие более чувствительным расстояние, отделяющее слабого от сильного, легче достаются малому, чем большому числу людей, поскольку люди тем более независимы, чем менее за ними наблюдают, а этого наблюдения тем меньше, чем больше их число. ** Там же, где население страны растет быстрее, чем ее границы, роскошь становится преградой деспотизму, потому что она оживляет промышленность и деятельность людей, а удовлетворение потребностей доставляет так много наслаждений и удобств богатому, что меньшее место занимает показная роскошь, которая именно и увели-

чивает чувство зависимости. Можно заметить поэтому, что в обширных, но слабых и малонаселенных государствах преобладает, если тому не воспрепятствуют иные причины, роскошь, внушенная тщеславием, над роскошью, направленной к увеличению удобств жизни. Но в государствах, более населенных, чем иностранных, показная роскошь неизменно вытесняется роскошью удобств. Однако наслаждения роскошью связаны с тем недостатком, что, хотя в предоставлении их и в торговле предметами роскоши участвуют многие, значительной долей их пользуется только ничтожнейшая часть населения. Благодаря этому не ослабляется чувство нищеты, вызываемое скорее сравнением, чем действительностью. Но только безопасность и свобода, ограниченная одними законами, составляет главную основу счастья нации. При них наслаждения роскошью приносят пользу населению, без них же становятся орудием тирании. Подобно тому как благороднейшие дикие животные и наиболее свободолюбивые птицы удаляются в пустые и непроходимые леса, оставляя плодородные и веселые долины преследующему их человеку, так и люди избегают наслаждений, распределяемых тиранией.

Доказано, таким образом, что закон, превращающий страну в тюрьму для подданных, бесполезен и несправедлив. Таким же будет поэтому и наказание за самоубийство. Оно является виной, караемой Богом, потому что только он может наказывать и после смерти, но не преступлением перед людьми, потому что вместо того, чтобы падать на самого виновного, наказание падает на его семью.

Если мне кто-либо возразит, что такое наказание может тем не менее удержать человека, решившегося убить себя, я отвечу: кто спокойно отказывается от блага жизни, кто ненавидит земное существование настолько, что предпочитает ему несчастную вечность, того никак не могут поколебать менее действительные и более отдаленные соображения о детях и родителях.

§ XXXIII КОНТРАБАНДА

Контрабанда является настоящим преступлением, наносящим вред суверену и нации; наказание не должно быть, однако, бесчестным, потому что это преступление не влечет за собой бесчестия в общественном мнении. Когда бесчестие назначается за преступления, не считающиеся таковыми, то ослабляется его значение и для преступлений, его заслуживающих. Если смертная казнь будет установлена, например, за убийство фазана и за умерщвление человека или за подлог важного документа, то утратится разница

между этими тремя преступлениями. Тем самым будут утрачены нравственные чувства, крайне медленно и с трудом развивавшиеся в течение веков в душе человека, стоившие много крови, — чувства, для порождения которых считалось необходимым прибегать к помощи самых возвышенных побуждений и великого множества важных обрядностей.

Это преступление порождается самим законом, потому что с увеличением пошлины всегда растут и прибыль от преступления, и тем самым соблазн совершить его. Облегчается же контрабанда как благодаря увеличению окружности, подлежащей охране, так и уменьшению объема самого товара. Наиболее справедливым является наказание, состоящее в отобрании запрещенного товара и всего провозимого вместе с ним. И оно будет тем действеннее, чем ниже будет пошлина, так как люди рискуют только в соответствии с той выгодой, которую они могли бы получить при счастливом исходе предпринятого.

Но почему же это преступление, являясь кражей у государя, а следовательно и у самой нации, не влечет бесчестия для совершившего его? Отвечу на это, что преступления, которые, по мнению людей, не могут затронуть их лично, не настолько волнуют их, чтобы вызвать общественное негодование против виновных. Таким преступлением является контрабанда. Люди, на которых отдаленные последствия производят самое слабое впечатление, не замечают вреда, который может быть им причинен контрабандой; к тому же нередко они в настоящем извлекают из нее для себя выгоду. Они замечают только вред, причиняемый государю, они не заинтересованы поэтому в том, чтобы лишить уважения тех, кто тайно провозит товары, в противность тому, как они поступают в отношении совершающих кражу частного имущества, подлог важных документов и другие преступления, которые могут их затронуть. Очевидным является положение, что каждое одаренное чувствительностью существо думает только о том зле, которое ему известно.

Но можно ли оставлять безнаказанным подобное преступление, если у совершившего его отсутствует имущество? Никоим образом: бывает контрабанда, настолько задевающая систему податей, составляющую столь существенную и трудную часть благоустроенного законодательства, что преступление заслуживает значительного наказания, вплоть даже до тюрьмы, вплоть до рабства. Но эти тюрьма и рабство должны соответствовать природе самого преступления. Так, в тюрьме, назначаемой за тайный провоз табака, не должны содержаться убийцы или разбойники. Труд, заключающийся в работе на казну, которую виновный хотел обмануть, наиболее соответствовал бы природе наказаний за это преступление.

§ XXXIV О ДОЛЖНИКАХ

Для поддержания доверия к деловым договорам и для безопасности торговли законодатель принужден обеспечить кредиторов правом распоряжаться личностью несостоятельных должников. Но мне представляется важным, чтобы отличали злого несостоятельного от невинного. Первый должен подвергаться наказанию, установленному за подделку монеты, потому что подделка куска клейменого металла, являющегося залогом обязательства граждан, составляет не большее преступление, чем подделка самих обязательств. **Но если впавший невинно в несостоятельность докажет своим судьям после строгого расследования, что он лишился своего имущества вследствие коварства или несчастья других или же вследствие событий, которые никакая человеческая мудрость не в состоянии предусмотреть? В силу каких варварских соображений следует тогда бросать его в тюрьму и лишать единственного и печального блага — голый свободы? Зачем переживать ему страдания виновных и с отчаянием угнетенной чести сожалеть, быть может, о том, что он жил спокойно, не будучи виновным, под опекой тех законов, которые были продиктованы корыстолюбием сильных, которые терпелись слабыми благодаря надежде, почти всегда сверкающей в душе человека, заставляющей верить, что несчастные случайности предназначены для других, а счастливые для нас! Казалось бы, в интересах каждого, чтобы законы были умеренными, но люди, следуя своим непосредственным чувствам, любят жестокие законы, несмотря на то что они им подчинены. Это объясняется тем, что боязнь потерпеть обиду от других сильнее желания обидеть самому. Возвращаясь к несчастному несостоятельному. Если его обязательства погашаются только при полной уплате долга, если он сможет только с согласия кредиторов оставить страну и использовать свою предприимчивость под властью других законов, а плоды ее под страхом наказания должны в соответствии с удачей поступать на удовлетворение кредиторов, то спрашивается: какие законные предлоги, будь то устойчивость торговли или священная собственность на имущество, могут оправдать лишение свободы, бесполезное, за исключением того случая, когда желают мучениями рабства раскрыть тайны несостоятельного, предполагаемого невинным? Редчайший случай, если будет производиться строгое расследование. Я утверждаю, что законодательство вообще должно руководствоваться следующим основным положением: неблагоприятные политические последствия находятся в прямом отношении к размеру вреда, наносимого обществу, и в обратном — к трудности его установления. Следовало

бы различать умысел от грубой неосторожности, эту от легкой, а последнюю от полной невинности. В первом случае следовало бы назначать наказания как за подлог, во втором — меньшее, но состоящее в лишении свободы, в последнем — предоставлять должнику свободный выбор средств, которые помогли бы ему восстановить свое положение, в третьем случае предоставлять этот выбор кредиторам. Но различие между грубой и легкой неосторожностью должно быть установлено слепым и беспристрастным законом, а не опасной и произвольной мудростью судей. Точное разграничение так же необходимо в политике, как и в математике, столько же при измерении общественного блага, сколько и при измерении величин¹. С какой легкостью мог бы заботливый законодатель предупредить значительную часть неосторожных несостоятельств и спасти от несчастья невинного прилежного человека! Публичная и точная запись всех договоров и свобода для всех граждан справляться в документах, хранящихся в порядке. Общественный банк, основанный на взносы, разумно отчисляемые от удачной торговли, задачей которого была бы выдача соответствующих сумм несчастным и невинным купцам. От этого не произошло бы никаких вредных последствий, а выгоды могли быть неисчислимы. О снисходительных, простых и возвышенных законах, ожидающих только мановения законодателя, чтобы пролить на лоно нации изобилие и силу, о законах, творцы которых прославлялись бы из поколения в поколение в бессмертных благодарственных гимнах, — о таких законах меньше всего думают или их меньше всего желают. Беспокойный мелочный дух, робкая мудрость, думающая о настоящем, осторожная недоверчивость к новому властвуют над чувствами тех, которые распоряжаются деятельностью слабых смертных. **

§ XXXV УБЕЖИЩА

Мне остается рассмотреть еще два вопроса: первый состоит в том, справедливы ли убежища и полезны или нет договоры между

^{**1} Торговля и собственность на имущество не являются целью общественного договора, но могут служить средством к ее достижению. Подвергать каждого из членов общества бедствиям, которые могут быть порождены таким множеством случайностей, значило бы подчинять цель средствам, что явилось бы ложным заключением во всех науках, в особенности же в политике. В такую же ошибку впал я в предыдущих изданиях, где говорил, что невинный несостоятельный должен содержаться под стражей в виде залога для кредиторов или же быть отдан им в работу. Стыжусь, что писал это. Меня обвинили в безбожии, но я этого не заслужил. Меня обвинили в мятежных подстрекательствах, но я этого не заслужил. Я оскорбил права человечества, и никто не упрекнул меня в этом. **

нациями о взаимной выдаче преступников. В пределах страны не должно быть места, независимого от законов. Сила их должна следовать за гражданином, как тень за телом. Безнаказанность и убежища мало чем различаются между собой. Так как впечатление производит не столько строгость наказания, сколько его неизбежность, то убежища вызывают преступления в большей мере, чем от них удерживает наказание. Увеличивать число убежищ — означало бы создание такого же числа маленьких независимых государств, потому что там, где законы не повелевают, могут создаваться новые законы, противоречащие общепринятым, и тем самым может развиваться дух, враждебный духу всего общества. Вся история показывает, что убежища являлись колыбелью великих переворотов в государствах и в мнениях людей. Но полезна ли взаимная выдача нациями преступников? Я не осмелюсь разрешить этот вопрос до тех пор, пока законы, более соответствующие требованиям человечества, более мягкие наказания и устранение зависимости от произвола и от мнений не обеспечат безопасность угнетенной невинности и ненавидимой добродетели, пока тирания без остатка не будет изгнана в обширные равнины Азии всемирным разумом, все более объединяющим интересы престола и подданных. Хотя сознание, что нет ни одной пяди земли, где прощались бы истинные преступления, было бы самым действительным средством их предупреждения.

§ XXXVI

О НАЗНАЧЕНИИ ЦЕНЫ ЗА ГОЛОВУ ПРЕСТУПНИКА

Другой вопрос — полезно ли назначать цену за голову человека и превращать в палача каждого гражданина, вкладывая в его руку оружие. Преступник находится за пределами или в пределах своей страны. В первом случае суверен подстрекает граждан к совершению преступления и навлекает на них наказание. Таким образом, он наносит обиду и присваивает себе власть в чужих владениях, он уполномочивает тем самым другие нации одинаково поступать и с ним. Во втором случае он обнаруживает свою собственную слабость: не станет покупать помощь тот, кто сам себя в состоянии защитить. Кроме того, подобный указ спутывает все понятия о нравственности и добродетели, исчезающие от малейшего дуновения ветра. Законы то призывают к измене, то наказывают за нее. Одной рукой законодатель скрепляет узы семьи, родства и дружбы, другой награждает тех, кто их ломает и разрывает. Постоянно находясь в противоречии с самим собой, он то призывает к довер-

чивости подозрительный ум людей, то сеет во всех сердцах недоверие. Вместо предупреждения одного преступления он порождает сотню их. К таким средствам прибегают слабые нации, законы которых все равно что временные исправления здания, расшатанного со всех сторон и готового рухнуть. По мере распространения в нации просвещения честность и взаимное доверие становятся необходимыми и ими все более проникается истинная политика. Хитрость, коварство, темные и не прямые пути будут вообще избегаться, и чувствительность всех одержит верх над чувствительностью каждого в отдельности. Даже века невежества, в течение которых общественная нравственность побуждала людей повиноваться нравственности частной, служат поучением и уроком для веков просвещенных. Но законы, вознаграждающие измену, возбуждающие, сея взаимное недоверие среди граждан, тайную войну, препятствуют столь необходимому соединению нравственности с политикой, которое могло бы доставить людям счастье, нации — мир, а вселенной — возможно более длительный покой и отдых от всех переживаемых зол.

§ XXXVII

ПОКУШЕНИЯ, СООБЩИКИ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Из того, что законы не наказывают намерение, не следует еще, чтобы преступление, начинающееся каким-либо действием, которым обнаруживается желание довести его до конца, не заслуживало бы наказания, хотя и меньшего, чем преступление. Применение наказания оправдывается важностью предупреждения покушений. Но поскольку между покушением и окончанием преступления может пройти известное время, назначение большего наказания за оконченное преступление может вызвать раскаяние. То же относится и к случаю, когда имеется несколько сообщников в преступлении, но не все являются непосредственными исполнителями, а участвуют в нем по-разному. Если несколько человек вместе идут на риск, то чем он больше, тем сильнее они стремятся сделать его равным для всех. Поэтому труднее найти желающего быть исполнителем, раз он должен нести больший риск, чем остальные сообщники. Единственным исключением был бы тот случай, когда исполнителю предназначалось бы особое вознаграждение. Так как больший риск в этом случае возмещается, то наказание должно быть равным. Эти рассуждения могут показаться слишком метафизическими не думающему о том, насколько важно, чтобы законы как можно меньше способствовали согласию сообщников между собой.

Некоторые суды обещают безнаказанность сообщнику тяжкого преступления, если он назовет своих товарищей. С такой мерой связаны невыгоды и выгоды. Невыгоды состоят в том, что нация одобряет измену, презираемую даже среди злодеев. При этом преступления, требующие храбрости, менее опасны для нации, чем порождаемые низостью. Первая встречается нечасто и нуждается только в благодетельной силе, которая направила бы ее на общее благо; вторая же встречается чаще, она заразительна и всегда своекорыстна. Кроме того, суд обнаруживает свою собственную неуверенность и слабость закона, взывающего к его нарушителю о помощи. Выгоды заключаются в предупреждении важных преступлений, устрашающих народ, когда последствия их явны, а виновники неизвестны. Эта мера полезна также, так как показывает, что нарушающий верность законам, т.е. обществу, способен нарушить ее и по отношению к отдельным лицам. Мне представляется более предпочтительным издать общий закон, устанавливающий безнаказанность сообщнику, раскрывшему любое преступление, чем обещать ее в отдельных случаях. Такой закон предупреждал бы соединение преступников, вселяя в каждого сообщника взаимный страх, что только он сам подвергается опасности; и суд не придавал бы смелости злодеям, видящим, что в отдельных случаях обращаются к ним за помощью. Безнаказанность доносчика по такому закону должна все же сопровождаться его изгнанием... Но тщетно стараюсь я заглушить угрызения совести, которые переживаю, уполномочивая закон — этот священный и неприкосновенный памятник общественного доверия, эту основу человеческой морали — на коварство и измену. И какой пример для нации, если обещание безнаказанности не выполнено, если, насмехаясь над общественным доверием, влекут при помощи ученого крючкотворства на казнь того, кто ответил на призыв закона! Такие примеры нередки среди наций. Поэтому нередки люди, думающие о нации только как о сложной машине, которой по своему усмотрению управляют наиболее ловкие и сильные. Бесчувственные и равнодушные ко всему, что составляет отраду нежных и возвышенных душ, они подобно музыкантам, извлекающим звуки из инструмента, с неизменной ловкостью возбуждают, смотря по тому, что считают для себя полезным, то самые дорогие чувства, то самые сильные страсти.

§ XXXVIII

НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ; ПОКАЗАНИЯ

Наши законы запрещают при расследовании дела *наводящие* вопросы, т.е. вопросы, которые, как говорят ученые, касаются не

преступления *вообще*, а отдельных его обстоятельств и, будучи непосредственно связаны с преступлением, *наводят* подсудимого на прямой ответ. Допрос, по мнению криминалистов, должен, как спираль, кружиться вокруг события преступления, но никоим образом не идти к нему по прямой линии. Это правило вызвано тем соображением, чтобы *не навести* подсудимого на ответ, который освободил бы его от обвинения, или, может быть, тем, что признание преступником себя виновным представляется всегда противным природе. Но и в том и другом случае явно противоречие законов, допускающих пытку одновременно с этим правилом. И действительно, какой же другой допрос является *более наводящим*, чем связанный с причинением боли? Первое соображение находит свое подтверждение в пытке, потому что боль внушит сильному упорное молчание, благодаря которому большее наказание заменится меньшим, слабому же *внушит* признание, чтобы избавиться от переживаемых мучений, более действительных, чем страдания в будущем. Второе соображение, вне сомнения, такого же рода. Если допрос, направленный на установление отдельных обстоятельств преступления, заставляет обвиняемого сознаться вопреки законам природы, то мучения пытки приведут к этому с еще большей легкостью. Но люди обращают больше внимания на различие названий, чем самих вещей. Замечательным примером такого рода злоупотребления словами является признание ничтожным и недействительным показания осужденного уже преступника. Он является *граждански мертвым*, говорят с важным видом юристы-перипатетики, а мертвый не способен ни к каким действиям. В жертву этой пустой метафоры принесено множество людей, и очень часто самым серьезным образом спорили о том, должна или нет истина уступать место судебным формулам. Если только наказания осужденного не направлены на то, чтобы задержать ход правосудия, то почему же нельзя предоставить преступнику, хотя бы после осуждения, из внимания к его крайнему несчастью и в интересах истины возможность указать на новые обстоятельства, которые изменяют природу дела и могут оправдать его или других при новом судебном процессе? Формальность и торжественность необходимы при отправлении правосудия, чтобы ничего не оставлять на произвол судьбы, чтобы народ знал, что суд творится на основании твердых правил, а не беспорядочно и пристрастно, наконец, и потому, что на людей, склонных к подражанию, рабов привычки, впечатления воздействуют сильнее, чем рассуждения. Истина бывает слишком простой или слишком сложной и, чтобы примирить с собой невежественный народ, нуждается в известной внешней торжественности. Но во избежание роковой опасности не следует придавать формальностям такой характер, чтобы от этого пострадала истина. В заключение скажу, что упорно отказывающийся отвечать на допросах заслуживает наказания, указанного

законом, и притом наказания, наиболее строгого из установленных законом, чтобы посредством молчания люди не уклонялись от необходимости послужить должным примером для народа. Но такое наказание не является необходимым, когда очевидно, что данное преступление совершено данным преступником, подобно тому, как излишне признание, когда виновность устанавливается другими доказательствами. Последнее встречается чаще всего, так как опыт показывает, что в большинстве процессов подсудимый отрицает свою виновность.

§ XXXIX

ОБ ОСОБОМ РОДЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Читающий это сочинение заметит, что я не коснулся одного рода преступлений. Из-за него Европа была залита человеческой кровью и были воздвигнуты костры, где пищей для пламени служили живые человеческие тела. Эти костры являлись веселым зрелищем, они услаждали слух слепой толпы, когда до нее сквозь клубы черного дыма — дыма от человеческого тела — среди треска обуглившихся костей и шипения еще трепещущих внутренностей доносились глухие, невнятные стоны несчастных. Но рассудительные люди поймут, что ни место, ни время, ни предмет не позволяют мне исследовать природу этого преступления. Выходило бы за пределы моего труда и было бы слишком долго доказывать, что в государстве необходимо совершенное единообразие мыслей, несмотря на пример многих наций; что мнения, отличающиеся между собой только тончайшими, неясными, слишком далекими для человеческого понимания чертами, могут тем не менее потрясти общественное благополучие, если одному из них не будет отдано предпочтения перед другими; что раз природа мнений такова, что одни благодаря брожению и взаимной борьбе проясняются: истинные побеждают, а ложные тонут в забвении — то другие, не имеющие опоры, если будут предоставлены самим себе, должны быть облечены авторитетом и силой. Слишком долго было бы доказывать, что господство силы над умами людей нужно и необходимо, хотя оно и представляется ненавистным, порождающим одно лицемерие, а отсюда и низость, противоречащим духу кротости и братства, предписанному разумом и авторитетом, более всего нами почитаемым. Все это следует считать до очевидности доказанным и согласным с истинными интересами людей, раз это господство осуществляется имеющими признанный авторитет. Я говорю только о преступлениях, вытекающих из человеческой природы и общественного договора, а не о грехах, наказания за которые, даже временные, должны быть основаны на иных началах, чем начала ограниченной философии.

§ XL

ЛОЖНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПОЛЬЗЕ

Одним из источников ошибок и несправедливостей являются ложные понятия о пользе, которые создают себе законодатели. Ложно понятие о пользе, когда отдельные неудобства считаются более важными, чем общие, когда чувствам приказывают вместо того, чтобы их возбуждать, когда говорят логике: служи! Ложно понятие о пользе, когда ради воображаемого или незначительного неудобства приносится в жертву тысяча действительных выгод; когда отнимают от людей огонь, потому что от него пожары, и воду, потому что в ней тонут; когда зло исправляется только путем разрушения. **Законы, запрещающие ношение оружия, принадлежат к такого рода законам. Они обезоруживают только тех, кто не склонен и не решится на преступление. Но люди, не боящиеся нарушить самые священные законы человечества, самые важные постановления Уложения, станут ли уважать менее важные и совершенно произвольные законы, которые так легко нарушить и остаться безнаказанным, точное следование которым лишает человека личной свободы, самой дорогой для него и для просвещенного законодателя, и подвергает невинного всем тем бедствиям, которые должны падать на виновного? Эти законы ухудшают положение тех, кто подвергается нападению, и улучшают его тем, кто нападает. Они не уменьшают, а увеличивают число убийств, потому что увереннее можно напасть на безоружного, чем на вооруженного. Такие законы не предупреждают преступлений, а боятся их, они возникают под шумным впечатлением отдельных событий, а не вследствие разумного обсуждения выгод и невыгод, которые может породить закон, имеющий общее значение.** Ложно понятие о пользе, когда среди множества чувствующих существ хотят установить симметрию и порядок, свойственный грубой и неодушевленной материи, когда, пренебрегая побуждениями ближайшими, которые только и действуют на людей постоянно и с силой, предпочитают побуждения отдаленные. А эти производят самое мимолетное и слабое впечатление, если сила воображения, редко встречающаяся у людей, не восполнит отдаленность предмета его увеличением. Ложным, наконец, является понятие о пользе, когда, принося существо дела в жертву словам, противопоставляют благо общественное благу всех частных лиц. Между жизнью в обществе и естественным состоянием различие состоит в том, что человек дикий наносит вред другим, поскольку это полезно для него самого, тогда как дурные законы побуждают иногда человека, живущего в обществе, причинять обиду другим без всякой пользы для себя. Деспот вселяет страх и уныние в души

своих рабов, но этот страх и уныние отражаются на нем самом с еще большей силой. Чем более ограниченному составляющему семью числу лиц внушается страх, тем меньшей опасности подвергается вызывающий его и находящийся в этом свое счастье. Но чем публичнее действует страх, чем большее число людей охватывается им, тем скорее найдется неразумный, или отчаянный, или острожно-смелый человек, который использует других в своих целях. Он пробудит в них наиболее дорогие чувства, тем более соблазнительные, чем на большее число лиц распространяется опасность предприятия и чем меньше, в соответствии с их жалким положением, ценят несчастные свое собственное существование. Одна обида порождает другую, потому что ненависть является чувством более длительным, чем любовь. В то время как первая черпает свою силу в продолжении действий, вторая теряет ее от этого.

§ XLI

КАК ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Лучше предупреждать преступления, чем наказывать. В этом — главная цель всякого хорошего законодательства, которое является искусством вести людей к возможно большему счастью или к возможно меньшему несчастью, если говорить об общем итоге добра и зла в жизни. Но употреблявшиеся до сих пор средства по большей части были неверными и противоречащими поставленной цели. Невозможно привести беспокойную деятельность людей к геометрическому порядку, исключаящему неправильность и запутанность. Подобно тому как неизменные и простейшие законы природы не препятствуют нарушению движения планет, так и человеческие законы не смогут — при бесконечных и самых противоположных силах притяжения, наслаждения и печали — предупредить столкновения и нарушения порядка. И, однако, именно эта нелепая мечта присуща ограниченному людям, когда они получают власть в свои руки. Запрещать множество безразличных действий — не значит предупреждать преступления, которые ими и не могут быть рождены, а значит создавать из этих действий новые преступления, значит определять по своему желанию добродетель и порок, которые провозглашаются вечными и непоколебимыми. До чего были бы мы доведены, если бы было необходимо запретить нам все, что может привести к преступлению? Нужно было бы лишить человека возможности пользоваться своими чувствами. На одно побуждение, толкающее людей к совершению действительного преступления, приходится тысячи, толкающие их к совершению тех безразличных действий, которые в дурных законах называются преступлениями. Таким образом, если вероятность

преступлений пропорциональна числу побуждений, то расширение круга преступлений увеличивает вероятность их совершения. Большая часть законов — не что иное, как привилегии, т.е. подать, наложенная на всех в пользу немногих.

Хотите предупредить преступления? Сделайте так, чтобы законы были ясными, простыми, чтобы вся сила нации была сосредоточена на их защите и чтобы ни одна часть этой силы не направлялась на их уничтожение. *Сделайте так, чтобы законы меньше покровительствовали сословиям, чем самим людям.* Сделайте так, чтобы люди боялись их и только их. Страх перед законами благодетелен, но страх человека перед человеком губителен и порождает преступления. Порабощенные люди всегда более сластолюбивы, распутны и жестоки, чем свободные люди. Эти думают о науках, об интересах нации, видят великое и подражают ему. Те, довольные настоящим, стараются забыть свое унижительное положение в шумном беспутстве. Для них, привыкших к неопределенности исхода всех событий, исход их преступлений представляется загадочным, что еще более благоприятствует страстям, вызывающим преступления. В нации, склонной под влиянием климата к лени, неопределенность законов поддерживает и усиливает лень и глупость. Силы нации, склонной к наслаждениям, но деятельной, благодаря таким законам растрачиваются на мелкие козни и плутни, сеющие во всех сердцах недоверие, обращающие измену и притворство в основу мудрости. В нации сильной и мужественной такие законы будут в конце концов уничтожены, но только после многих колебаний от свободы к рабству и от рабства к свободе.

§ XLII

О НАУКАХ

Хотите предупредить преступления? Сделайте так, чтобы просвещение шло рука об руку со свободой. Зло, порождаемое знаниями, находится в обратном отношении к их распространенности, а добро — в прямом. Невежественный народ преклоняется перед ловким обманщиком, который никогда не бывает обыкновенным человеком, а просвещенный народ осмивает его. Облегчая сравнение предметов, показывая их с разных точек зрения, знания противопоставляют многие ощущения друг другу. Эти ощущения противостоят взаимно и с тем большей легкостью, чем чаще у других встречаются такие же взгляды и такие же сомнения. Перед лицом просвещения, широко распространенного среди нации, смолкает клеветническое невежество и трепещет авторитет, лишенный доводов разума, тогда как непоколебимой пребывает могущественная сила законов. Нет поэтому ни одного просвещенного человека, кото-

рый не любил бы публичных, ясных и полезных договоров об общественной безопасности, сравнивая пожертвованную им малую частицу бесполезной свободы с суммой всей свободы, пожертвованной другими, которые при отсутствии законов могли бы замышлять против него. Если человек с чувствительной душой бросит взгляд на Уложение хорошо составленных законов и найдет, что он потерял только печальную свободу причинять другим зло, то он будет принужден благословить престол и того, кто его занимает.

Неверно, что науки всегда приносили вред человечеству. Когда так происходило, это было неизбежным для людей злом. Размножение человеческого рода по лицу земли вызвало войну, искусства, самые грубые и первые законы, которые являлись временными договорами, порождаемыми необходимостью и вместе с нею исчезавшими. Это была первая философия, немногочисленные положения которой были справедливы, потому что беспечность и малая умудренность предохраняли людей от заблуждений. Но с умножением числа людей всегда умножались и их потребности. Понадобились, следовательно, более сильные и более длительные впечатления, которые удерживали бы людей от неоднократного возвращения к первобытному, дообщественному состоянию, ставшему все более гибельным. Первоначальные заблуждения, населившие землю ложными божествами и создавшие невидимый мир, управляющий нами, явились поэтому великим благом для человечества (говорю о великом благе политическом). Благотельями людей оказались те, кто поразили людей удивлением и притащили послушное невежество к алтарям. Они говорили о предметах, недоступных чувствам, ускользавшим от людей, чем больше они верили, что они в руках у них, о предметах, которые никогда не презирались, потому что никогда не были хорошо известны. Благодаря этому они объединили и сосредоточили страсти людей на одном, сильно их поразившем предмете. Таков был жребий всех наций, образовавшихся больших обществ, такова была необходимая и, может быть, единственная их связь. Я не говорю об избранном Богом народе, которому необычайные чудеса и знамения милости заменили человеческую политику. Но так как заблуждению присуще свойство делимости до бесконечности, то порожденные им науки превратили людей в фанатическую толпу слепых, которые так теснились и сталкивались в замкнутом лабиринте, что некоторые чувствительные философы сожалели даже о древнем диком состоянии. Вот первая эпоха, в которой знания, вернее, мнения, приносили вред.

Вторую эпоху составляет переход от заблуждений к истине, от мрака, которого не сознавали, к свету. Страшное столкновение заблуждений, полезных немногим сильным, сближение и волнение пробужденных при этом страстей приносят бесконечные страдания несчастному человечеству. Кто вдумается в историю, кото-

рая повторяется в своих главных эпохах через известные промежутки времени, тот увидит, что часто ради последующих поколений приносится в жертву целое поколение во время печального, но необходимого перехода, приводящего от мрака невежества к свету философии и от тирании к свободе. Но когда улягутся страсти, когда погаснет пожар, очистивший нацию от зол, ее угнетавших, когда истина, сперва медленно, а затем все быстрее идя к торжеству, воссядет на престолах рядом с монархами и когда ее будут почитать и воздвигнут алтари в парламентах республик, кто может тогда утверждать, что свет, просвещающий массы, вреднее тьмы и что истинные и простые отношения, хорошо познанные людьми, гибельны для них?

Если слепое невежество является менее роковым, чем посредственное и путаное знание, потому что последнее к недостаткам первого прибавляет заблуждения, неизбежные у того, чей кругозор не достигает границ истинного, то суверен принесет драгоценнейший дар и нации, и самому себе, если назначит просвещенного человека хранителем и стражем священных законов. Привыкший бесстрашно взирать на истину, лишенный большинства надуманных потребностей, никогда достаточно не удовлетворяемых, но которыми искушается добродетель большинства людей, привыкший смотреть на человечество с более возвышенной точки зрения, он видит в своей нации семью людей-братьев, расстояние между знатыми и народом будет для него тем меньшим, чем больше масса человечества, находящаяся перед его очами. Философам свойственны потребности и интересы, неведомые обыкновенным людям; они не отказываются при свете публичности от тех начал, которые они проповедовали втайне, им свойственна любовь к истине ради нее самой. Выбор таких людей составляет счастье нации, но счастье кратковременное, если хорошими законами их число не будет умножено настолько, что уменьшится вероятность другого выбора, как бы вообще она ни была велика.

§ XLIII ВЛАСТИ

Другое средство предупреждения преступлений заключается в том, чтобы коллегия, являющаяся исполнителем законов, была больше заинтересована в их соблюдении, чем в нарушении. Чем значительнее число членов ее, тем меньше опасность злоупотребления законами, потому что труднее подкупить лиц, наблюдающих друг за другом, и они тем меньше заинтересованы в усилении своей власти, чем меньшая доля ее приходится на каждого, в особенности по сравнению с опасностью предприятия. Если суверен,

придавая властям внешнюю пышность, допуская суровые указы, запрещая как справедливые, так и несправедливые жалобы со стороны считающих себя угнетенными, приучит подданных больше бояться властей, чем законов, то от этого больше выиграют власти, чем личная и общественная безопасность.

§ XLIV НАГРАДЫ

Другое средство предупреждения преступлений заключается в награждении добродетели. По этому вопросу я замечаю полное молчание в законах всех ныне существующих наций. Если награды, устанавливаемые академиями лицам, открывающим *полезные* истины, умножили и знания, и хорошие книги, то разве награды, раздаваемые благодетельной рукой суверена, не умножат число добродетельных поступков? Монета чести всегда неисчерпаема и плодоносна в руках мудрого раздаятеля.

§ XLV ВОСПИТАНИЕ

Наконец, самое верное, но и самое трудное средство предупреждения преступлений заключается в усовершенствовании воспитания — вопрос слишком обширный, выходящий за поставленные мной пределы. Этот вопрос, смею также сказать, слишком тесно связан с природой правления, так что вплоть до самых отдаленных веков всеобщего счастья он останется бесплодным полем, изредка только обрабатываемым немногими мудрецами. Один великий человек, просвещающий человечество, его преследующее, изложил подробно главные правила воспитания, действительно полезного людям. Оно должно заключаться не в бесплодном множестве предметов, а в точном выборе их, оно должно знакомить в подлинниках, а не в копиях с явлениями как моральными, так и физическими, которые случайно или намеренно являются перед неиспорченной душой юноши. Оно должно вести их к добродетели, пользуясь легкой дорогой чувств, оно должно отвращать их от зла не сбивчивым путем приказаний, за которыми следует лишь притворное и мимолетное послушание, а безошибочным путем убеждения в неизбежности вредных последствий.

**§ XLVI

О ПОМИЛОВАНИИ

По мере смягчения наказаний милосердие и прощение становятся менее необходимыми. Счастлива нация, в которой они считаются вредными! Милосердие — эта добродетель, являющаяся иногда дополнением обязанностей суверена, должна быть исключена из хорошего законодательства, при котором наказания должны быть кроткими, а суд правильным и скорым. Эта истина покажется суровой тому, кто живет при беспорядочной уголовной системе, когда прощение и милость тем более необходимы, чем нелепее законы и чем жестче осуждения. Прощение и милость являются лучшей прерогативой престола, наиболее желанным атрибутом верховной власти. Но в них проявляется и молчаливое неодобрение, выражаемое благодетельными устроителями общественного счастья Уложению, которое со всеми своими недостатками опирается на предрассудки веков, на многотомное сооружение бесчисленных комментаторов, на тяжелый аппарат вечных формальностей и на сочувствие более пронырливых и менее внушающих страх полуученых. Но нужно помнить, что милосердие — добродетель законодателя, а не исполнителя законов, что она должна блистать в Уложении, а не в отдельных решениях. Показывать людям, что можно прощать преступления, что наказание не является необходимым их последствием, — значит питать в них надежду на безнаказанность и заставлять думать, что, раз может быть дано прощение, исполнение наказания над теми, кого не простили, является скорее злоупотреблением силы, чем проявлением правосудия. Что могут сказать, если государь дарует прощение, т.е. жертвует общественной безопасностью в пользу отдельного лица и частным постановлением создает общее представление о безнаказанности! Пусть будут непреклонны законы и их исполнители, но пусть будет кроток, снисходителен и человеколюбив законодатель. Мудрый строитель, он должен воздвигать свое здание на основе любви каждого к самому себе, и пусть общее благо будет итогом частных интересов. Тогда ему не придется особыми законами и беспорядочными поправками каждый раз отделять общественное благо от частного и на страхе и недоверии создавать призрак общественного благоденствия. Пусть он, как глубокий и мудрый философ, предоставит людям, своим братьям, мирно наслаждаться той малой частицей блаженства, которую неизмеримая система, установленная первопричиной всего существующего, дала им в удел в этом уголке вселенной.**

§ XLVII ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кончаю следующим размышлением. Суровость наказаний должна соответствовать состоянию самой нации. На грубые души народа, едва вышедшего из состояния дикости, необходимо действовать более сильными и более чувствительными впечатлениями. Нужна молния, чтобы сразить свирепого льва, выстрел из ружья только раздражит его. Но по мере того, как душа людей, живущих в обществе, смягчается, возрастает их чувствительность, а с ростом последней, если желают сохранить отношение между предметом и ощущением, должна уменьшаться сила наказания.

Из всего, что мы до сих пор видели, можно вывести одну общую теорему, весьма полезную, но мало соответствующую общепринятой традиции — этому обычному законодателю наций: *чтобы наказание не являлось насилием одного или многих над отдельным гражданином, оно должно непременно быть публичным, незамедлительным, необходимым, наименьшим из возможных при данных обстоятельствах, соразмерным преступлению, установленным в законах.*

ПРИЛОЖЕНИЕ I

I

ОТРЫВОК, ИМЕВШИЙСЯ В РУКОПИСИ БЕККАРИА, НЕ ПОПАВШИЙ В ПЕЧАТЬ

В рукописи Беккариа § II «Право наказания» заканчивался следующим ненапечатанным абзацем:

«La vita e la libertà dell'ultimo cittadino è un bene sacro agli occhi del Legislatore, e quella disuguaglianza che dal trono discende fino al più meschino artefice non deve giungere fino ad offendere la libertà ed i sentimenti più cari e più essenzialmente attaccati al carattere di uomo ragionevole, non essendo suo scopo di fare della moltitudine l'istromento della felicità di pochi, ma di mantenere quello fermento degli animi umani di migliorare la propria condizione e (sie) che forma la vità e la libertà di un popolo».

«Жизнь и свобода самого последнего гражданина являются священным благом в глазах законодателя. И неравенство, простирающееся от престола до самого бедного ремесленника, не должно посягать на свободу и на чувства, наиболее дорогие и наиболее свойственные разумному человеку, ибо задача законодателя не в превращении большинства в орудие счастья немногих, а в сохранении стремления, присутствующего людям, улучшить свое собственное положение, что и составляет жизнь и свободу народа».

II

МЕСТА КНИГИ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В РУКОПИСИ

Места, имеющиеся в книге Беккариа, но отсутствующие в рукописи:

1. В § XXVI «О духе семейственном»: «По мере расширения общества...» до «...неравнодушен к их неблагодарности».
2. В § XXVIII «О смертной казни»: «Счастливо было бы человечество...» до конца параграфа.
3. В § XXX «Процесс и давность»: «Но эти строки...» до «...с какой увеличивается вероятность совершения преступлений».
4. В § XLIV «Награды».

ПРИЛОЖЕНИЕ II

БИБЛИОГРАФИЯ

Полной библиографии изданий книги Беккариа «О преступлениях и наказаниях», вышедших как на итальянском языке, так и в переводах, до настоящего времени не имеется.

Исчерпывающая библиография отразила бы «приливы и отливы» общественного и научного интереса к книге Беккариа и ее идеям в отдельных странах в зависимости от социально-политических условий того или иного исторического периода.

Существеннейшим недостатком до появления труда Ландри было отсутствие научного описания первых изданий книги Беккариа (1764—1766).

Не считая необходимым приводить все известные нам издания книги Беккариа, мы ограничиваемся описанием: 1) первых ее изданий; 2) наиболее важных изданий на итальянском, французском и немецком языках и 3) изданий на русском языке.

I

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГИ БЕККАРИА

I. DEI DELITTI [e] DELLE PENE [*In rebus quibuscumque difficilioribus non expectant dum, ut quis simul, et serat, et metat, sed [praeparatione opus est, ut per gradus mature] scant.* Bacon Serm. fidel. num. XLV [MDCCLXIV] 104 p., picc. in — 4, senza divisione in paragrafi numerati.

Книга вышла анонимно и без указания места издания в июле 1764 г. Она была отпечатана в Ливорно, в типографии, принадлежавшей поэту аббату Марко Колтеллини. Книга в первом издании не была подразделена на нумерованные параграфы.

II. DEI DELITTI [e] DELLE PENE edizione seconda [rivista e correcta]. *In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per [gradus maturescant.* Bacon. Serm. fidel. n. 45], IN MONACO [Livorno, Coltellini]. [MDCCLXIV] 112 p., picc. in 8, divisa in 40 paragrafi nimerati. Incisione nel frontespicio.

Местом второго издания указано Монако. В действительности же оно отпечатано анонимно там же, где и первое издание. Второе издание последовало немедленно за первым, хотя точное время у

Ландри не указывается. Не указывается у Ландри и тираж первых двух изданий. Вряд ли каждое из них превышало 500—550 экземпляров. В «Ответе» на памфлет Факиней, приложенном к третьему изданию, говорится между прочим: «Моя книга находится в настоящее время в руках тысячи читателей».

Во втором издании текст книги разделен на 40 перенумерованных параграфов.

III. DEI DELITTI [e] DELLE PENE. [terza edizione] rivista, corretta, e notabilmente accresciuta [dall'aitore] colle risposte dello stesso. Alle note e osservazioni [pubblicate in Venezia contro quest'opera] si aggiunge [il giudizio] di un celebre professore]. IN LAUSANNA [MDCCLXV] 229 p. in 8, divisa in 45 paragrafi con un avvertimento dell'editore: *Al lettore.* Essa fu variata nell'incisione del fronti-spizio.

Напечатано не в Лозанне, а там же, где и первые два издания, и также анонимно, в начале, как указывает Ландри, 1765 г. В обращении издателя «К читателю», которое в извлечении приводится в издании Морелле, говорится, что настоящее (третье) издание вышло спустя едва шесть месяцев после появления первого издания.

Тексту самого сочинения «О преступлениях и наказаниях» предшествует указанное обращение издателя «К читателю». Приложено «Мнение знаменитого профессора», защищавшего Беккариа от обвинений Факиней в исповедании взглядов Гобса. Один из первых биографов Беккариа — Вилла установил, что автором «Мнения» являлся профессор Пизанского университета Сориа. В третьем издании появился «Ответ» на памфлет монаха Факиней, составленный, как это окончательно установлено Ландри, братьями Верри (см. нашу вводную статью, главу VI).

В нашем распоряжении, к сожалению, не было первых трех изданий. Во втором говорилось, что оно «просмотрено и исправлено», а в третьем — «просмотрено, исправлено и *значительно дополнено*». Можно думать, хотя Ландри на этом вопросе не останавливается, что во втором издании по сравнению с первым никаких дополнений не было.

В архиве Беккариа помимо рукописи его сочинения, с которой было напечатано первое издание, сохранилась рукопись Беккариа из 30 отдельных страниц, перенумерованных сыном Беккариа, Джулио, римскими цифрами. Приложение озаглавлено им: «Различные дополнения к изданиям, последовавшим за первым». Как установил Ландри, в этом приложении содержатся все дополнения к пятому изданию, за исключением обращения Беккариа «К тому, кто читает», и нет ни одного дополнения к третьему изданию.

В пятом издании, выпущенном (также как издания первое—третье и четвертое) самим Беккариа, после обращения «К тому, кто читает» проведена черта и под ней, более мелким шрифтом, напе-

чатано: «Все, включенное между этим знаком *, является первыми дополнениями, а включенное между другим знаком**, вторыми дополнениями». Мы считаем возможным «первые дополнения» считать дополнениями к третьему изданию, а «вторые» — к четвертому и пятому. (В пятом, помимо обращения «К тому, кто читает», имеется по сравнению с четвертым, как это показывается в приложении III, только одно добавление).

На основании этих разметок следует прийти к заключению, что третье издание было пополнено новыми четырьмя параграфами: XIV «Улики и форма суда», XXI «Наказания для дворян», XXXVII «Покушения, сообщники, безнаказанность» и XXXVIII «Наводящие вопросы; показания». Но во втором издании значилось 40 параграфов. Спрашивается, откуда могло получиться в третьем издании 45 параграфов, когда было добавлено к нему только четыре? Это можно объяснить, только допустив, что во втором издании какие-нибудь два параграфа третьего издания были объединены в один.

В издании Морелле (четвертом) приложено оглавление третьего издания на итальянском языке. При отсутствии самого третьего издания это оглавление было очень ценно для нас. Оно показывает, что расположен материал в пятом издании, как и в третьем, и что третье издание содержало действительно 45 параграфов, не считая «Введения».

Помимо четырех параграфов Беккариа включил ряд дополнений и в другие параграфы. Все они помещены в тексте нашего перевода, как и в пятом издании, между звездочками.

IV. TRAITÉ [DES] DÉLITS ET DES PEINES [traduit de l'Italian] d'après la troisième Édition, revue, [corrigée et augmentée par l'Auteur. [Avec des Additions de l'Auteur, qui n'ont pas encore paru en Italien]. A LAUSANNE [1766] in — 12°, p. XXXI — 286.

В качестве четвертого издания Ландри указывает перевод Морелле. Это он мог сделать с полным основанием, потому что вышедшее вслед за ним свое новое итальянское издание Беккариа назвал «пятым».

Издание вышло в конце 1765 г. без указания имени автора и переводчика. Местом печатания указана Лозанна, но в действительности книга напечатана во Франции, как предполагает Ландри, в Париже. На страницах XXIX—XXXI содержит «опечатки» (*Errata*), чем, по указанию Ландри, оно отличается от последующих изданий перевода — IV «бис» и т.д. О большом количестве опечаток в первом издании своего перевода Морелле писал Беккариа в первом письме к нему.

Перевод был сделан с третьего издания. Узнав от Даламбера, что готовится перевод его книги, Беккариа послал Даламберу для передачи переводчику дополнения к третьему изданию, которые и во-

шли в четвертое издание, а затем и в пятое. Беккариа переслал Даламберу два новых параграфа: XVII «О государственной казне», XLVI «О помиловании» и ряд дополнений к отдельным параграфам, среди них и знаменитое примечание к § XXXIV «О должниках».

Весь материал Морелле изложил в 42 параграфах, причем «Введение» стало первым параграфом.

О том, какой «порядок» придал Морелле книге Беккариа и чем текст перевода отличается от текста оригинала — см. приложение III.

IV bis, IV ter, ecc. — TRAITÉ [DES DÉLITS [et] des peines]. TRADUIT DE L'ITALIEN [d'après la troisième édition], revue, corrigée et augmentée par l'Auteur. Avec des additions de l'Auteur, qui [n'ont pas encore paru en Italien.] A LAUSANNE [MDCCLXVI] in — 12, p. XXIV — 248. più 4 pag. d'Indice.

Книга Беккариа, переведенная на французский язык, имела такой успех, что в течение 1766 г. потребовалось не менее шести новых изданий. В сентябре 1766 г. Морелле сообщил Беккариа, что уже разошлось семь изданий по 1000 экземпляров каждое.

Местом печатания издания IV «бис» и т.д., как замечает Ландри, указывались Лозанна, Амстердам, Филадельфия. В действительности же все они печатались, по всей вероятности, в Париже.

В нашем распоряжении не было четвертого издания, но этот пробел мог быть восполнен благодаря тому, что в Ленинской библиотеке (Москва) имеются три экземпляра издания IV «бис» и т.д. — с указанием как места печатания Лозанны и Филадельфии. В Ленинградской библиотеке Всесоюзной академии наук имеется один экземпляр (Амстердам).

V u V^{bis} DEI DELITTI [e] DELLE PENE [edizione quinta] Di nuovo corretta ed accresciuta]. *In rebus quibuscumque difficilioribus non expe — [ctandum, ut quis simul, et serat, et me —] tat, sed praeparatione opus est, ut per gra — [dus maturescant. Bacon. Serm. fidel. nu. XLV] HARLEM [MDCCLXVI] picc. in 8.*

Текст сочинения Беккариа в этом издании состоит из «Введения» и 47 параграфов (два новых по сравнению с третьим изданием, вошедших уже в четвертое). Впервые в этом издании появляется обращение автора — «К тому, кто читает». Все дополнения, посланные Беккариа для четвертого издания, вошли и в пятое издание. Кроме того, пятое издание пополнилось еще одним дополнением в § XL (см. приложение III). О внешней разметке дополнений сказано выше (см. издание III).

В пятом издании три авторских примечания в § III, XIII, XXXIV. В редакции Морелле их шесть, потому что часть текста вынесена в примечания.

По соображениям, изложенным в нашей вводной статье, мы считаем это издание каноническим. Именно с него и сделан наш пе-

ревод. Во внешнем изложении мы следовали за этим изданием, абзацы в нашем переводе те же, что и в оригинале.

Ландри указывает, что издание, называемое «пятым», было двойным. «Пятое» в собственном смысле вышло в марте 1766 г., пятое «бис», как его называет Ландри, вышло, по его мнению, в августе 1766 г.

В соответствии с описанием Ландри часть тиража содержала только текст сочинения Беккариа и имела 205 страниц. Другая часть включала дополнительно «Мнение знаменитого профессора» и «Ответ» на памфлет Факинеи. Эти экземпляры содержат 318 страниц. В некоторых экземплярах помещено также извлечение из Луганской газеты о присуждении автору премии, а также другое извещение о том, что появился французский перевод сочинения и что автором одобряется порядок, принятый переводчиком. В некоторых экземплярах дано только последнее извещение.

Издание украшено или гравюрой, изображающей палача, протягивающего богине правосудия, которая с ужасом отворачивается, три отрубленные головы, или портретом автора с его именем.

Местом издания указан Гарлем. В действительности оно отпечатано в Ливорно у Колтеллини.

В нашем распоряжении был экземпляр пятого издания в 318 страниц с гравюрой, принадлежащей Всесоюзному институту юридических наук НКЮ СССР. Точно такой же экземпляр имеется в Ленинской библиотеке (Москва).

VI и VI^{bis}. — DEI DELITTI [e] DELLE PENE [edizione sesta] [Di nuovo corretta ed accresciuta.] *In rebus quibuscumque difficilioribus non [expectandum, ut quis simul, et seriat, et me —]tat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant.*]Bacon. Serm. fidel. XLV [HARLEM]. *Et se vend á* [Paris, Chez Molini Libraire, Quai des Augustins.] MDCCXVI.

Это издание было тоже двойным, печаталось в Ливорно у Колтеллини, вышло, как устанавливает Ландри, в 1766 г. «после сентября». Ландри отмечает, что это издание «во всем сходно с предшествующим и содержит те же варианты».

В Ленинской библиотеке (Москва) имеется экземпляр этого издания в варианте: 318 страниц, с гравюрой палача.

II

ДРУГИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГИ БЕККАРИА НА ИТАЛЬЯНСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

ПЕРЕВОД ШАЙУ ДЕ-ЛИЗИ, 1773 г.

TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES, traduit de l'Italien d'après la sixième Édition, revue, corrigée et augmentée de plusieurs chapitres

per l'Auteur; Auquel on a joint plusieurs pièces très intéressantes pour l'intelligence du texte. Par M. C. D. L. B. A Paris, Chez J. F. Bastien, Libraire, rue du petit Lyon, Fauxbourg St. Germain. MDCCLXXIII, p. XXXV — XIV — 424 + 95.

Издание содержит «Извещение издателя», «Предварительные замечания» переводчика, текст сочинения Беккариа, «Мнение профессора», «Ответ» (с очень незначительным сокращением) и «Комментарий» Вольтера на книгу Беккариа. Текст перевода воспроизводит четвертое издание, вполне сходное, как указывалось, с пятым.

Перевод выполнен прекрасно. Большим достоинством как этого, так и перевода Морелле является то, что оба автора их — современники Беккариа и у них был общий с ним философский и политический язык.

Перевод Лизи вышел, как указывает Ландри, вторым изданием еще в том же 1773 г.

Экземпляр перевода Лизи имеется во Всесоюзном институте юридических наук НКЮ СССР и в Ленинской библиотеке (Москва).

ИЗДАНИЕ РЕДЕРЕРА 1797 г.

TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES par BECCARIA, traduit de l'italien par André Morellet; Nouvelle édition corrigée; précédée d'une correspondance de l'auteur avec le traducteur; accompagnée de notes de Diderot; et suivie d'une théorie des lois pénales par Jérémie Bentham; traduite de l'Anglais par Saint — Aubin. A Paris. De l'Imprimerie du Journal d'Economie publique, de morale et de politique, rue de Buffault, n. 499. An. V — 1797, in — 8, p. LXVIII — 232.

В библиотеке Парижского университета имеется экземпляр издания с надписью Морелле: «Это издание моего перевода является наиболее полным и лучшим. Оно выполнено попечением г-на де Редерера» (Ландри). В нем впервые опубликованы первые письма, которыми обменялись Морелле и Беккариа. Как установил Ландри, первое письмо Морелле 3/1 1766 г. опубликовано у Редерера с большими пропусками и с некоторыми изменениями по сравнению с оригиналом. О переписке Морелле с Беккариа см. вводную нашу статью.

Издание Редерера имеется в Ленинской библиотеке (Москва) и в библиотеке Московского государственного университета.

МИЛАНСКОЕ ИЗДАНИЕ 1812 г.

DEI DELITTI E DELLE PENE di CESARE BECCARIA. Milano Co'tipi di Luigi Missi. MDCCCXII. In folio, p. XV — 206.

Роскошное издание, ин-фолио, в кожаном тисненном переплете, посвященное сыну Беккариа, Джулио. Издано только в 60 эк-

землярах, из которых один находится в библиотеке Московского государственного университета.

Издание подготовлено Джулио Беккариа, но не критически. Он следовал редакции Морелле, но вставил обращение «К тому, кто читает» и дополнение к § XL (см. приложение III). Шесть примечаний помещены, видимо по соображениям внешней выдержанности, после текста сочинения Беккариа. В издании помещен «Каталог изданий и переводов книги Беккариа, собранных Джулио Беккариа». Всего внесено в каталог изданий на итальянском языке — 28 (включая миланское), на французском — 13, немецком — 4, испанском, русском, новогреческом и голландском — по одному. Но это далеко не является исчерпывающим списком изданий, вышедших до 1812 г. Так, перевод Морелле был издан в 1766 г. не в пяти, а по меньшей мере в семи изданиях, немецких вышло шесть, на русском языке два и т.д.

ИЗДАНИЕ ФОСТЕН ЭЛИ

DES DÉLITS ET DES PEINES. Par BECCARIA. Nouvelle édition. Précédée d'une introduction et accompagnée d'un commentaire par M. Faustin Hélie. Paris Guillaumin et C-ie, 1856, p. LXXXI — 240.

Это издание является до настоящего времени руководящим для французской литературы. Текст сочинения Беккариа дается в редакции Морелле. Эли не указывает, сам ли он перевел Беккариа или воспользовался имеющимся уже переводом. Зарудный считал, что Эли «просто взял перевод Морелле и сделал в нем разные перемены, в видах согласования с современным слогом». Но дело не в одном слого. У Эли, прежде всего, имеется обращение «К тому, кто читает», отсутствующее у Морелле. В вопросе о смертной казни Эли дает формулировку пятого издания, а не Морелле (см. приложение III). С другой стороны, у Эли отсутствует дополнение к § LX. Эссельборн указывает, что Эли воспользовался французским переводом, вышедшим в Париже в 1822 г., автор которого неизвестен. Ввиду всего этого к тексту перевода Беккариа в издании Эли надо относиться весьма осторожно. Оно, как и издание Морелле, состоит из 42 параграфов.

Популярным это издание стало во Франции благодаря тому, что Эли, один из наиболее авторитетных французских буржуазных криминалистов XIX в., снабдил его большой вводной статьей и комментарием к каждому параграфу сочинения Беккариа.

Второе издание Эли, несколько дополненное, вышло в 1870 г. Экземпляры изданий Эли не являются редкостью.

ИЗДАНИЕ КАНТУ́

CANTU, BECCARIA E IL DIRITTO PENALE. Firenze, 1862. p. VI + 466.

В качестве приложения содержит текст сочинения Беккариа. Тексту этого сочинения Канту́ предпосылает следующее уведомление: «Мы руководствовались роскошным изданием ин-фолио, вышедшим только в 100 экземплярах¹ в королевской миланской типографии. Между * мы поместили дополнения к первому изданию, между ** позднейшие дополнения. Некоторые варианты (Канту́ имеет, очевидно, в виду отступление от миланского издания) мы извлекли из рукописи автора».

Сличение издания Канту́ с миланским показывает, что расхождение между ними совершенно ничтожно, сводится к различному употреблению курсива, к правописанию отдельных слов, к знакам препинания, к различию в разбивках на абзацы. Наиболее «крупное» расхождение в оглавлении § 38 (пятое издание, § XL). У Канту́ оно гласит: «Источники заблуждений и несправедливости в законодательстве, прежде всего, ложные понятия о пользе». В миланском же издании сказано просто: «Ложные понятия о пользе». Мы рукописью Беккариа не располагаем, но знаем, что у Морелле § 38 был озаглавлен: «О некоторых общих источниках заблуждений и несправедливостей в законодательстве и, прежде всего, о ложных понятиях о пользе», и склонны думать, что Канту́ этот «вариант» взял не из рукописи, а заимствовал у Морелле.

Издание Канту́ содержит обращение «К тому, кто читает» и 42 параграфа. «Введение» составляет первый параграф. Шесть примечаний отнесены к соответствующим параграфам.

Издавая текст книги Беккариа, Канту́, как никто другой, мог бы, сличая тексты первых пяти изданий, с математической точностью установить последовательность «дополнений». Он этого, к сожалению, не сделал. Сличение издания Канту́ с пятым показывает почти полное совпадение разметок дополнений. Мы склонны думать, что Канту́ облегчил себе работу, попросту заимствовав разметки из пятого издания, откуда он взял и обращение «К тому, кто читает», и дополнение к § XL. Даже формула его «уведомления» о разметках напоминает формулу пятого издания, но создает представление, что дополнения появились якобы уже со второго издания.

Ценным в издании Канту́ является опубликование в приложениях «Кратких рассуждений» Беккариа об австрийском Уголовном кодексе 1787 г. и особого мнения Беккариа и двух других членов

¹ В определении тиража Канту́ впал в ошибку. На экземпляре, бывшем в нашем распоряжении, указано не только общее количество — 60 экз., но и какое число из них отпечатано на той или иной бумаге.

комиссии (1792) по вопросу о смертной казни (см. главу X вводной статьи).

Экземпляр итальянского издания книги Кантú имеется в Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Книга Кантú была переведена на французский язык (Париж, 1885). Экземпляр этого издания имеется в библиотеке Московского государственного университета.

ПЕРЕВОД ЭССЕЛЬБОРНА

ÜBER VERBRECENEN und STRAFEN von CESARE BECCARIA. Übersetzt mit biographischer Einleitung und Anmerkungen versehen von Dr. jur. Karl Esselborn. Leipzig, 1905. S. 204.

Перевод сделан с миланского издания 1812 г. чрезвычайно вдумчиво и бережно. Автор приложил все усилия, чтобы как можно более точно и вместе с тем литературно передать мысли Беккариа.

Следуя господствующему мнению, Эссельборн считал лучшей редакцию Морелле, но он все же дает в приложении порядок, принятый в пятом издании, и отмечает отличия между текстами миланского и пятого изданий. Издание Морелле (четвертое) такому же анализу не подвергнуто. «Дополнения» не отмечены, очевидно, потому, что в миланском издании отсутствуют соответствующие разметки. В приложении полностью приведены «Краткие рассуждения» Беккариа об австрийском Уголовном кодексе 1787 г. и «Особое мнение» о смертной казни.

Вводная статья «Жизнь и труды Беккариа» написана весьма обстоятельно. Автор сообщает не только биографические сведения о Беккариа, но излагает содержание и дает характеристику всех его работ. Приведена полная библиография изданий книги Беккариа на немецком языке. Но и Эссельборн повторяет ряд «легенд», созданных вокруг Беккариа и его книги. В частности, автором «Ответа» он считает самого Беккариа. Этой ошибки он мог бы избежать и до появления труда Ландри (1910). Но Эссельборну осталось почему-то неизвестным сочинение француза Буви «Граф Пьетро Верри» (1889).

III

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ КНИГИ БЕККАРИА

1. ПЕРЕВОД ЯЗЫКОВА 1803 г.

БЕККАРИА. РАССУЖДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ. Переведено с итальянского на французский Андреем Мореллетом, и с оного на Российской, Дмитрием

Языковым. С присовокуплением примечаний Дидерота и переписку сочинителя с Мореллетом. Печатано по высочайшему его императорского величества повелению. В Санкт-Петербурге, при губернском правлении. 1803. XLIV — 268 стр.

Перевод сделан с издания Редерера. Поэтому в нем отсутствует обращение «К тому, кто читает». Переводчик не включил «теорию уголовных законов Бентама», но, что является большим достоинством издания, дал переписку Морелле с Беккариа полностью, как она опубликована у Редерера.

История первого перевода Беккариа на русский язык представляет большой интерес. Наши просвещенные соотечественники второй половины XVIII в. были знакомы с Беккариа не только в его «обработанном» Екатериною в «Наказе» виде, но и с самой его книгой, преимущественно в переводе Морелле. Под известным влиянием просветительных идей находился в своей молодости и Александр I благодаря воспитателю, швейцарцу Лагарпу, а затем кружку молодых друзей — князь Чарторыйский, граф Строганов, Новосильцев. В 1797 г. Александр писал Лагарпу, что он и его друзья озабочены мыслью о переводе на русский язык «столько полезных книг, как это только окажется возможным». Те книги, которые нельзя будет напечатать теперь же, они приберегут для будущего. Александр выражал надежду, что они «по возможности положат начало распространению знания и просвещению умов». Но тут же Александр высказывал сожаление, что всего труднее подыскать людей, способных выполнить эти переводы. «Дай Бог, — заканчивал Александр, — чтобы мы могли когда-либо достигнуть нашей цели — даровать России свободу и предотвратить ее от посползновений деспотизма и тирании»¹.

В настоящее время мы можем расшифровать, какие «полезные книги» предполагал переводить и издавать кружок наследника. В бумагах А.Ф. Бестужева найден реестр, из которого видно, что он получил от Александра 6250 руб. на перевод ряда книг, в том числе Гольбаха и Беккариа. Из этих же сумм было оплачено издание в 1798 г. Санкт-Петербургского журнала, редактировавшегося Бестужевым и Паниным. В идейной связи с редакторами и сотрудниками журнала находился и Радищев². Возможно, что именно ему, знакомому с книгой Беккариа еще во время пребывания в Лейпциге, принадлежала мысль о переводе ее на русский язык.

В лице Д.И. Языкова (1773—1845) русская наука и публицистика нашли прекрасного переводчика Беккариа. Языков был европейски образованный человек, впоследствии непреременный секре-

¹ Письмо на французском языке полностью приведено у Шильдера. Император Александр I. 2-е изд., 1904. С. 280.

² А.Н. Радищев. Материалы и исследования Института русской литературы Академии наук СССР, 1936. С. 24.

тарь Российской академии наук и ординарный академик. Ему, между прочим, принадлежит перевод Монтескье «О существе законов» (1800—1812) и Фейербаха «Философско-юридическое исследование о государственных преступлениях» (1812).

Огромное достоинство Языкова заключается в том, что его перевод лучше, чем последующие, отразил дух книги Беккариа. Объясняем это тем, что Языков сам был сыном «века просвещения» и прекрасно понимал «язык» этого века. Хотя он и переводил не с оригинала, а с французского, его перевод более ярко отражает философскую и политическую направленность книги Беккариа, чем переводы Зарудного и Беликова.

Издание Языкова уже во времена Зарудного являлось библиографической редкостью.

2. ПЕРЕВОД ХРУЩЕВА 1806 г.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ. Перевел с французского Александр Хрущев. С дозволения Санкт-Петербургского Цензурного комитета. В Санкт-Петербурге, в типографии И. Глазунова, 1806 г., VIII — 200 стр.

Это издание воспроизводит текст Беккариа в редакции не Морелле, а самого автора (пятое издание), так что в нем имеется и обращение «К тому, кто читает».

В «Предуведомлении от переводчика» Хрущев писал: «Г. Языков обогатил сим сочинением русскую словесность, сообразуясь в переводе своем с расположением Мореллетовым: недавно вышел во Франции новый перевод сей книги, в котором не сделано никакой перемены и не упущено ни одной статьи и подлинника. Ласкаясь, что все принадлежащее к творениям Беккариа драгоценно для любителей словесности и политики, осмеливаюсь после перевода г. Языкова издать мой труд».

Мы не могли установить, с какого французского издания перевел Хрущев. Но вопреки его заверению, что им «не упущено ни одной статьи», приходится указать, что у Хрущева отсутствуют целый параграф — «О преступлениях, трудно доказываемых» и все три примечания Беккариа. Вслед за § XXIX у него идет § XXXI.

Язык у Хрущева неплохой, хотя, в общем, уступает переводу Языкова. Заслуживает быть отмеченным, что для Хрущева было ясно политическое значение книги Беккариа.

3. ПЕРЕВОД СОБОЛЕВА 1878 г.

ЦЕЗАРЬ БЕККАРИА. О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ. Перевод Ив. Соболева, кандидата прав. Радом. 1878 г., стр. 134

Соболев указывает, что перевод его сделан с итальянского туринского издания 1853 г., вполне тождественного, судя по перево-

ду Соболева, с пятым. То, что Соболев остановился на авторской редакции, объясняется скорее всего тем, что он не располагал итальянским текстом в редакции Морелле. Издание Кантү ему, в частности, осталось неизвестным. Вместе с тем, считая, что перевод с перевода будет дальше отстоять от оригинала, он не последовал примеру Языкова и Хрущева.

Сам того не сознавая, Соболев дал, таким образом, русскому читателю канонический текст Беккариа. Но Зарудный, перевод которого вышел в следующем же году, вынес суровый и, как мы теперь знаем, совершенно несправедливый приговор, что перевод Соболева сделан «с одного из худших итальянских изданий», так как последнее основано на одном из первых оригиналов автора, «не исправленных еще им на основании замечаний Морелле».

Язык перевода заставляет желать очень многого. «В стремлении к точности, — писал Соболев в своем предисловии, — я гнался главным образом за точной передачей мыслей автора. Стремиться вместе с этим перенести в перевод и изящество и силу подлинника было невозможно, да едва ли бы это стремление и увенчалось каким-нибудь успехом».

Благодаря такой «установке» перевод Соболева отчасти напоминает так называемые подстрочники, которыми когда-то в гимназиях пользовались при изучении классиков. Он трудно читается. К тому же Соболев часто совершенно без всяких оснований пользуется такими иностранными словами, как «интерпретация», «интерпретировать», когда можно сказать — «толкование», «толковать», «суггестивные» вопросы — вместо «наводящие» и т. п.

В предисловии (с. 1—18) Соболев сообщает краткие биографические сведения о Беккариа, не всегда верные, и пытается охарактеризовать его уголовно-правовые взгляды, впадая при этом в грубые ошибки.

Появление перевода Зарудного оттеснило Соболева на самый задний план.

4. ПЕРЕВОД ЗАРУДНОГО 1879 г.

БЕККАРИА. О преступлениях и наказаниях в сравнении с главою X Наказа Екатерины II и с современными русскими законами. Материалы для разработки сравнительного изучения теории и практики уголовного законодательства. С. Зарудного. С.-Петербург, XXIII — 196 стр.

С.И. Зарудный (1821—1887), один из главных деятелей по проведению судебной реформы 1864 г., утвердил в русской научной литературе мнение, что редакция Морелле является лучшей редакцией книги Беккариа. В упрек это ему нельзя поставить, так как подобное мнение является «господствующим» и до настоящего времени. Лично Зарудный приложил все старания, чтобы сделать перевод с «луч-

шего» итальянского издания, и по совету председателя итальянского сената графа Склописа остановился на издании Кантú.

Параллельно с текстом Беккариа Зарудный приводит и соответствующие места из «Наказа» 1767 г., но это рассеивает внимание читателя.

В предисловии Зарудный сообщает самые краткие биографические сведения о Беккариа, отсылая к другим источникам, дает характеристику предшествующим русским переводам и излагает главным образом свои взгляды на задачи и методы перевода. В «приложениях», «объяснениях и замечаниях», помещенных в конце книги (с. 161—196), Зарудный приводит совсем краткие отрывки из переписки Морелле с Беккариа — еще более краткие, чем это сделал Эли, выдержки из Эли, Кантú и др. и ряд своих замечаний по некоторым из параграфов книги Беккариа. Впрочем, это не мешало Зарудному снабжать своими примечаниями и самый текст Беккариа, политически далеко не всегда безразличными. Так, например, к словам Беккариа, что важнее, чем жестокость наказаний, их неизбежность и что суровость судьи становится только тогда полезной добродетелью, когда он применяет кроткие законы (начало § XXVII), Зарудный делает примечание: «Мысль эта выражена гораздо кратче и яснее словами высочайшего указа 20 ноября 1864 года: “правда и милость да царствуют в судах”». Главу о смертной казни Беккариа заканчивает пожеланием «умножения власти» благодетельных монархов, покровительствующих мирным добродетелям, наукам, искусствам и т.д. «Разве эти строки не вчера написаны! — восклицает Зарудный в своем примечании. — Кто из нас не сделает этой хронологической ошибки, если подумает о том, что в России царствует император Александр II, в Германии — Вильгельм I, в Англии — Виктория, в Италии — Гумберт, наследник Виктора Эммануила, а в Ватикане — папа Лев XIII и, наконец, что главою Французской республики недавно был избран Гриви?»

Нам кажется, что кроме Зарудного никто ни в русской, ни в мировой литературе не приглашал рассматривать Александра II и прочих особ, перечисленных в примечании, как «философов на троне».

В своей вводной статье (глава XII) мы указывали, какой неверный политический смысл придается Беккариа, когда вместо «суверена» переводчики говорят всюду о «государе», или когда Зарудный избегает таких иностранных слов, как тирания, деспотизм. Здесь мы можем иллюстрировать на примерах. Известное, очень часто цитируемое место из § IV «Толкование законов» гласит у Беккариа:

«...quando la norma del giusto, o dell' ingiusto, che deve dirigere le azioni si del Cittadino ignorante, come del Cittadino Filosofo non è un affare di controversia, ma di fatto; allora i sudditi

non son soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perché il dispotismo di molti non è correggibile, che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un Despotico è proporzianata non alla forza, ma agli ostacoli».

ПЕРЕВОД ЗАРУДНОГО

«Когда правила, отличающие справедливость от несправедливости, — правила, которые должны заправлять действиями как самого невежественного, так и самого просвещенного гражданина, являются событием, а не спорным вопросом, тогда отдельные личности не подвергаются мелочному своеволию (*piccole tirannie*) многих, тем более жестокому, чем ближе мучитель к мученику, и притом более ужасному, чем своеволие одного лица, потому что насилие многих лиц ослабляется только насилием одного лица, а жестокость одного своевольного владыки (*despotico*) соразмерна не силе его, а препятствиям, ему противопоставляемым».

И в конце того же параграфа:

«Questi principii spiaceranno a coloro, che si sono fatto un diritto di trasmettere, agl' inferiori i colpi della tirannia, che hanno ricevuto dal superiori».

«Начала эти, конечно, не понравятся тем, кто считает себя вправе обращаться с низшими с той же самовластной жестокостью, с какою с ним обращаются его начальники».

НАШ ПЕРЕВОД

«Когда правила о том, что справедливо и что несправедливо, чем должны руководствоваться все граждане — от самого непросвещенного до философа — являются бесспорными, тогда подданные будут избавлены от мелкой тирании многих, тем более жестокой, чем ближе она к угнетаемым, тем более ужасной, что на смену ей может прийти лишь тирания одного, а жестокость одного деспота пропорциональна не силе его, а противодействию, которое он встречает».

«Высказанные мною начала не понравятся, конечно, тем, которые, подвергаясь ударам тирании сверху, считают себя вправе переносить их на ниже себя стоящих».

Иногда, наоборот, Зарудный употреблял в переводе иностранные слова там, где этого нельзя было делать. И происходило это не потому, что Зарудный не знал итальянского языка или не владел русским литературным языком. Нет, он просто-напросто не по-

нимал политического языка XVIII в. Вот пример такого непонимания. Говоря в § V «Неясность законов» о значении письменности, Беккариа пишет:

«Una conseguenza di quest' ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di Governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili, se non della volontà generale, non si corrompano passando per la folla degli "interessi privati"».

ПЕРЕВОД ЗАРУДНОГО

«Отсюда ясно, что без письменности общество никогда не достигнет определенной формы правления, т.е. такого правления, при коем сила принадлежала бы правительству, а не отдельным партиям, и при коем законы, изменяемые только по общему соглашению, не искажаются ввиду множества частных выгод».

НАШ ПЕРЕВОД

«Отсюда следует, что без письменности общество никогда не сможет достигнуть твердого образа правления, при котором власть исходит от всего общества, а не от отдельных его частей, при котором законы изменяются не иначе, как по общей воле, и не могут быть искажены в угоду частным интересам».

Слово *parte* означает «часть» и «партия», но XVIII в. не знал политических партий в смысле XIX и XX вв., современный итальянский язык употребляет для обозначения их слово *partito*.

Далее: Беккариа противопоставляет части (общества) — целому (*tutto*), Зарудный — «партии» — «правительству» (!?). Под пером Зарудного Беккариа, исповедующий теорию общественного договора, теорию народного суверенитета («общая воля»), превращается в апологета «правительства».

Насколько правильнее передана мысль Беккариа у Языкова, который перевел это место так: «Из сих рассуждений следует, что без письма никакое общество не может никогда принять твердого образа правления, в котором сила находится в политическом теле, а не в частях оно, — в котором законы могут меняться только по общей воле и не могут ослабеть и рушиться от противоборства частных выгод». Мысль Беккариа правильно передана и у Хрущева, и у Соболева, но «смазана» у Беликова.

Зарудный знал, что Беккариа принужден был «затемнять свет облаками», но он не понимал иронии, к которой часто прибегал Беккариа, и поэтому в ряде случаев давал неправильное представ-

ление о переводимом тексте. В главе XII «Язык Беккариа» мы останавливались на изумительном по силе выступлении Беккариа против угнетения католической церковью всяких не согласных с нею воззрений (§ XXXIX). Мы приводили и «расшифровку» этого места монахом Факинеи, правильно понявшего Беккариа. Подлинник (конец параграфа) гласит:

«Troppo lungo sarebbe il provare, come quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine, e fraternità comandato dalla ragione, e dall'autorità, che piu veneriamo; pure sia necessario ed indispensabile. Tutto cio deve credersi evidentemente provato, e conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercitò. Io non parlo, che dei delitti, che emanano dalla natura umana, e dal patto sociale, e non dei peccati, de'qualli le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principi, che quelli di una limitata filosofia».

ПЕРЕВОД ЗАРУДНОГО

«Слишком долго было бы доказывать, почему, сколь ни ненавистно кажется господство силы над разумом, силы, которая может развить одно только притворство, а затем и унижение граждан, сколь ни противуположно это господство силы самому духу кротости и братства, предписываемому нам и разумом, и той властью, перед которою мы всего более благоговеем, — все же это господство необходимо и неизбежно.

Все это следовало бы считать доказанным до очевидности, если бы только существовала где-либо надлежащая власть, приводящая это в действие.

Я говорю здесь только о преступлениях, исходящих из природы человеческой и общественного договора, и не касающихся грехов, наказания коих, даже временные, должны быть определены на других основаниях, не зависящих от нашей ограниченной мудрости (*filosofia*)».

НАШ ПЕРЕВОД

«Слишком долго было бы доказывать, что господство силы над умами людей является нужным и необходимым, хотя оно и представляется ненавистным, порождающим одно лицемерие, а отсюда и низость, противоречащим духу кротости и братства, предписанному разумом и авторитетом, более всего нами почитаемым. Все это следует считать до очевидности доказанным и согласным с истинными интересами людей — раз это господство осуществляется имеющими признанный авторитет. Я говорю только о преступ-

лениях, вытекающих из человеческой природы и общественного договора, а не о грехах, наказания которых, даже временные, должны быть основаны на иных началах, чем начала ограниченной философии».

В приведенном нами отрывке Беккариа дважды употребляет слово *autorità* — «авторитет». В первом случае подразумевается Евангелие. (Это понимал еще и Эли.) Характерно, что Беккариа «кошунственно» проводил между ним и «разумом» знак равенства. Дальше Беккариа говорит о господстве насилия, осуществляемого «признанным авторитетом», т.е. католической церковью. Употребление в обоих случаях слова «власть» затушевывает истинную мысль автора. Беккариа иронизирует, говоря, что раз господство насилия осуществляется «признанным авторитетом», т.е. католической церковью, то, стало быть, оно и отвечает истинным интересам людей. У Зарудного же речь идет о какой-то не существующей еще «власти».

5. ПЕРЕВОД С. БЕЛИКОВА 1889 г.

МАРКИЗ БЕККАРИА. О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ. Перевод с итальянского, с этюдом «Значение Беккариа в науке и в истории русского уголовного законодательства». Харьков, XIV — 232 стр.

Книга издана в формате одного из итальянских изданий XVIII в. и украшена портретом Беккариа, взятым из собрания сочинений Беккариа, вышедшего в Милане в 1821 г. (имеется в Ленинградской библиотеке Академии наук СССР).

Перевод сделан с издания Кантú, поскольку Беликов считал, что «текст этот сверен с подлинными рукописями автора и потому совершенно точен». Этюд о Беккариа (с. 159 — 232) является наиболее полной из всех появившихся на русском языке статей об этом авторе и его книге. Беликов излагает биографию Беккариа и главные идеи его книги и в заключение сопоставляет ее с «Наказом» Екатерины. (В настоящее время лучше всего в последних целях пользоваться изданием «Наказа» под редакцией профессора Чечулина 1907 г., см. также: В. Витт. Екатерина II как криминалистка, 1910.)

В предисловии Беликов указывает, что, издавая новый перевод, он «старался в нем не столько воспроизвести цветистость старинного слога, сколько передать на современном языке смысл и силу речи автора».

Язык перевода действительно современный и вполне литературный. Но, стремясь к этому, Беликов очень часто не переводит, а скорее разъясняет Беккариа, а иногда заставляет Беккариа говорить языком профессора из современных Беликову либеральных

«Русских ведомостей». Вот один из примеров — отрывок из § XXXV — об убежищах (конец).

Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle Nazioni, io non arderei decidere questa questione, finhcè le leggi piu conformi ai bisogni dell' umanita, le pene piu dolci, ed estinta la dipendenza dall' arbitrio, e dall' opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa, e la detestata virtú: finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre piu unisce gl'interessi del Trono, e dei sudditi confinata nelle vaste pianure dell'Asia, quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra, che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

ПЕРЕВОД БЕЛИКОВА

«Затем, полезны ли международные договоры о взаимной выдаче преступников? На этот вопрос я не могу дать в наше время утвердительного ответа. Чтобы была действительная польза от взаимной выдачи преступников, необходимо сначала в каждом государстве согласовать законы с требованиями человеколюбия, ввести более мягкие наказания, устранить произвол власти, обеспечить невинных и честных людей от притеснений и преследований и поднять в народе уровень развития, который связал бы взаимные интересы государей и подданных и уничтожил бы тиранию в пределах образованного мира. Когда эти требования будут выполнены, тогда всеобщее убеждение, что нет страны, где действительные преступления могли бы оставаться безнаказанными, будет служить одним из верхней средств для предупреждения преступлений».

НАШ ПЕРЕВОД

Но полезна ли взаимная выдача нациями преступников? Я не осмелюсь разрешить этот вопрос до тех пор, пока законы, более соответствующие требованиям человечества, более мягкие наказания и устранение зависимости от произвола и от мнений не обеспечат безопасность угнетенной невинности и ненавидимой добродетели, пока тирания без остатка не будет изгнана в обширные равнины Азии всемирным разумом, все более объединяющим интересы престола и подданных. Хотя сознание, что нет ни одной пяди земли, где прощались бы истинные преступления, было бы самым действительным средством их предупреждения».

Ни о каком «поднятии уровня народного развития» Беккариа не говорит. Тирания в глазах автора сама по себе противоречит «все-

общему разуму». В итоге у Беликова вместо страстной тирады против тирании получилась какая-то проповедь «малых дел»! Слову «добродетель» XVIII в. придавал своеобразный политический смысл, и он не передается словами «честные люди». Для публицистов этого века Азия была политическим понятием. Говоря об «обширных равнинах Азии», с помощью яркого образа Беккариа только усиливал впечатление своей мысли. Беккариа говорил не «цветистым старинным» слогом, как его совершенно неверно характеризует Беликов, а революционным и притом образным революционным языком XVIII в. Беккариа владел прекрасным даром воздействовать на воображение, на чувство своих читателей, а Беликов, выбрасывая порой образы и сравнения, употребленные Беккариа, снижает «жар чувства», с которым написана книга. Приведем для примера отрывок из § XV «Тайные обвинения», где Беккариа рисует состояние людей, живущих в страхе перед тайными обвинениями:

«Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principi chiari ed immobili, che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri, che gli minnaciono...»

ПЕРЕВОД БЕЛИКОВА

«И как несчастны люди, живущие среди таких условий. Лишенные ясных руководящих начал, они блуждают, как потерянные».

НАШ ПЕРЕВОД

«Несчастны люди, дошедшие до такого состояния: лишенные ясных и твердых начал, которые указывали бы им путь, они блуждают, потерянные и колеблемые, по обширному морю сомнений, поглощенные заботой спастись от чудовищ, им угрожающих».

Никто из других переводчиков, как русских, так и иностранных, не отказался от этого образа «обширного моря», которое читатель XVIII в. населял всякого рода «чудовищами».

Беликов ставил в упрек Зарудному, что у него не всегда перевод точен и что он «в особенности неточен в передаче политико-экономических идей». Выше мы указывали на стремление Беликова заставить Беккариа говорить «современным» политическим языком. Отметим здесь и стремление Беликова исправлять математический язык Беккариа. Что же касается точности в передаче социально-политических идей, то Беликов впадал не в меньшие, а иной раз и в более грубые ошибки, так как и он подобно Зарудному не понимал политического и философского языка XVIII в. Вот как,

например, перевел Беликов конец § XXXIX «Об особом роде преступлений» (см. выше):

«Слишком долго было бы доказывать, что хотя господство внешней силы над человеческими умами ведет к лицемерию, а иногда к упадку нравов, и хотя это господство силы находится в противоречии с духом любви и братства, которого требует и разум и религия, — тем не менее для государства применение внешней силы есть неизбежная необходимость. Все это следует считать бесспорным, и нужно желать, чтобы нашелся правитель, который осуществил бы начала, обеспечивающие истинные интересы человечества.

Я говорю только о преступлениях, вытекающих из природы человеческой и из общественного договора, а не о грехах; церковь свои временные наказания за грехи определяет по иным законам, чем те, какими должна руководствоваться человеческая мудрость».

По Беликову выходит, что Беккариа приписывал «религии», значит и католичество, «дух любви и братства»! Не церковь, а «государство» далее применяет «внешнюю силу»! Философия XVIII в. подменяется какой-то «человеческой мудростью»! Если бы Беккариа действительно так писал, как его «перевел» Беликов, то Факири не из чего бы приходиться в ярость.

В связи с русскими переводами книги Беккариа не лишне упомянуть, что на русском языке имеется и популярная брошюра о Беккариа. В известном издательстве Павленкова, в биографической библиотеке «Жизнь замечательных людей», в 1893 г. вышла брошюра П.Я. Левенсона «Беккариа и Бентам» (94 с.); из них первому отведено 48 страниц. Очерк о Беккариа не претендовал на глубокую научность, но хорошо рисовал гуманность самого Беккариа и его книги.

В заключение мы должны признать большую помощь, которую нам оказали в нашей работе переводы Зарудного, Беликова, Языкова, Соболева, а из иностранных Шайу де-Лизи и Эссельборна. Предшествующие переводы, на которые авторы их затратили немало труда и которые проведены были с большой любовью, явились для нас ценным и незаменимым пособием. По всей справедливости поэтому нужно сказать, что без них мы не могли бы дать перевода в настоящем виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

КНИГА «О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ» В РЕДАКЦИИ МОРЕЛЛЕ

Раскрывая в главе XI «внутренний план» сочинения Беккариа, мы сопоставляли его с планом, принятым Морелле. Полностью этого сопоставления мы не могли провести, так как это перегрузило бы текст нашей вводной статьи.

Для большей наглядности мы составили две таблицы. В первой приводится содержание книги Беккариа в редакции пятого издания 1766 г. В скобках указываются параграфы книги в редакции Морелле, в которых воспроизводится текст авторского параграфа. Вторая таблица показывает план книги в редакции Морелле. В скобках указываются авторские параграфы, послужившие материалом для данного параграфа редакции Морелле.

Для облегчения пользования таблицами мы сохранили для пятого издания римские цифры, для редакции Морелле — ввели арабские.

Необходимо отметить, что не во всех случаях, где параграфы редакции Морелле составлены исключительно из соответствующих параграфов пятого издания, сохранена последовательность авторского изложения. Морелле сплошь и рядом прибегает к перестановке периодов. В итоге только 12 авторских параграфов не подверглись изменениям при переводе в смысле порядка изложения их текста: XIV (7), XV (9), XVII (40), XVIII (11), XXXVI (22), XXXVII (14), XXXIX (37), XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV (41).

АВТОРСКИЙ ПЛАН КНИГИ

К тому, кто читает. (Отсутствует.)

Введение. (Введение.)

- I. Происхождение наказаний. (2)
- II. Право наказания. (2)
- III. Выводы. (3, 4)
- IV. Толкование законов. (4)
- V. Темнота законов. (5)
- VI. Соразмерность между преступлениями и наказаниями. (23, 25, 23)
- VII. Ошибки при установлении мерила наказания. (24)
- VIII. Подразделение преступлений. (24, 1, 25, 26, 27, 25, 27)

- IX. О чести. (28)
- X. О поединках. (29)
- XI. Об общественном спокойствии. (33, 1)
- XII. Цель наказаний. (15)
- XIII. О свидетелях. (8)
- XIV. Улики и формы суда. (7)
- XV. Тайные обвинения. (9)
- XVI. О пытке. (12)
- XVII. О государственной казне. (40)
- XVIII. О присяге. (11)
- XIX. Незамедлительность наказаний. (19)
- XX. Насилия. (27)
- XXI. Наказания для дворян. (27)
- XXII. Кражи. (30)
- XXIII. Бесчестье. (28, 18)
- XXIV. Тунеядцы. (17, 34, 17)
- XXV. Изгнание и конфискация. (17)
- XXVI. О духе семейственном. (39)
- XXVII. Мягкость наказаний. (20, 15)
- XXVIII. О смертной казни. (16)
- XXIX. О взятии под стражу. (6, 21, 19, 20)
- XXX. Процесс и давность. (13)
- XXXI. Преступления, трудно доказуемые. (13, 36)
- XXXII. Самоубийство. (35)
- XXXIII. Контрабанда. (31, 23, 31)
- XXXIV. О должниках. (32)
- XXXV. Убежища. (21)
- XXXVI. О назначении цены за голову преступника. (22)
- XXXVII. Покушения, сообщники, безнаказанность. (14)
- XXXVIII. Наводящие вопросы; показания. (10, 8, 10)
- XXXIX. Об особом роде преступлений. (37)
- XL. Ложные понятия о пользе. (38)
- XLI. Как предупреждать преступления. (41)
- XLII. О науках. (41)
- XLIII. Власти. (41)
- XLIV. Награды. (41)
- XLV. Воспитание. (41)
- XLVI. О помиловании. (20)
- XLVII. Заключение. (15, 42)

ПЛАН КНИГИ В РЕДАКЦИИ МОРЕЛЛЕ¹

1. Введение и план сочинения (Введение, VIII, XI).
2. О происхождении наказаний и об основании права наказания (II, I, II).
3. Выводы из вышеуказанных положений (III, IV).
4. О толковании законов (IV, II, IV).
5. О темноте законов (V).
6. О взятии под стражу (XXIX).
7. Об уликах и форме суда (XIV).
8. О свидетелях (XIII, XXXVIII, XIII).
9. О тайных обвинениях (XV).
10. О наводящих вопросах (XXXVIII).
11. О присяге (XVIII).
12. О пытке (XVI).
13. О сроках расследования и давности (XXX, XXXI).
14. О начатых преступлениях и о соучастниках— (XXXVII).
15. О мягкости наказаний (XXII, XXVII, XLVII).
16. О смертной казни (XXVIII).
17. Об изгнании и конфискации (XXIV, XXV).
18. О наказании бесчестьем (XXIII).
19. О том, что наказание должно быть скорым, сходным с преступлением и публичным (XIX, XXIX).
20. О том, что наказание должно быть действительным и неизбежным. О помиловании (XXVII, XXIX, XLVI).
21. Об убежищах (XXXV, XXIX).
22. Об обычае назначать цену за голову преступника (XXXVI).
23. О соразмерности между наказаниями и преступлениями (VI, XXXIII, VI).
24. О мере тяжести преступлений (VIII, VII).
25. Подразделение преступлений (VIII, VI, VIII, VI).
26. О преступлениях оскорбления величества (VIII).
27. О преступлениях против безопасности честных лиц и, прежде всего, о насилиях (VIII, XX, VIII, XXI).
28. Об оскорблениях (XXIII, IX).
29. О поединках (X).
30. О краже (XXII).
31. О контрабанде (XXXIII).
32. О банкротях (XXXIV).
33. О преступлениях, нарушающих общественное спокойствие (XI).

34. О тунеядстве (XXIV).
35. О самоубийстве (XXXII).
36. О некоторых преступлениях, трудно доказуемых (XXXI).
37. Об особом роде преступлений (XXXIX).
38. О некоторых общих источниках заблуждений и несправедливостей в законодательстве и, прежде всего, о ложных понятиях о пользе (XL).
39. О духе семейственном (XXVI).
40. О духе фискальном (XVII).
41. О средствах предупреждать преступления (XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV).
42. Заключение (XLVII).

МЕСТА ТЕКСТА КНИГИ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ МОРЕЛЛЕ

1. В переводе Морелле отсутствует, прежде всего, обращение «К тому, кто читает». Этот пропуск вполне понятен, так как обращение появилось только в пятом издании.

Этот прямо бросающийся в глаза пропуск не был, однако, восстановлен Редерером или потому, что он не считал необходимым обратиться к оригинальному тексту книги Беккариа в последующих после перевода изданиях книги (пятом, шестом), или потому, что он сознательно игнорировал это дополнение. То же следует сказать и о самом Морелле, который, как мы видели, издание Редерера считал лучшим изданием своего *перевода*.

Отсутствует в редакции Морелле дополнение, вставленное в § XL (38): «Законы, запрещающие ношение оружия... может породить закон, имеющий общее значение». Возможно, что это дополнение появилось впервые в пятом издании.

Обращение «К тому, кто читает» и дополнение к § XL восстановлены в миланском издании 1812 г. и оттуда перенесены в издание Кантú. Позднейшие переводчики Беккариа, следовавшие «редакции Морелле», так и не заметили, что соответствующие места отсутствуют у Морелле.

2. Видимо, вполне произвольно выпущены Морелле следующие места:

В § II (2): «Всякое наказание, не вытекающее из безусловной необходимости, является, как говорит великий Монтескье, тираническим. Это положение может быть выражено более общим образом: всякое проявление власти человека над человеком, не вытекающее из безусловной необходимости, является тираническим. Таким образом, вот на чем основывается право суверена карать за преступления: на необходимости защищать хранилище общего блага от посягательств отдельных лиц».

¹ Оглавление параграфов, принятое Морелле, в ряде случаев расходится с оглавлением последних у Беккариа. Миланское издание 1812 г., а за ним и Кантú, большей частью заимствуют оглавление параграфов из пятого издания, частью берут у Морелле.

В § III (3): «Наличие этого обязательства, связывающего одинаково и дворец и хижину, и самого знатного и самого убогого, доказывает, что в интересах всех соблюдать договоры, полезные для большинства. *Нарушение хотя бы одного из них повело бы к утверждению анархии*». (Пропущено предложение, набранное курсивом.)

В § X (29) в конце параграфа: «и кто должен был показать своим согражданам, что он боится только законов, но не людей».

В § XXXIII (23), в самом начале параграфа: «Когда бесчестье назначается за преступления, не считающиеся таковыми, то ослабляется его значение и для преступлений, его заслуживающих».

Все эти места не отмечены в пятом издании как «дополнения». Следовательно, есть основания думать, что они были не только в третьем, но и в первом издании.

В миланском издании 1812 г. и у Кантú эти места не восстановлены.

В своей книге Беккариа допускает, как известно, применение смертной казни по *двум* основаниям, в редакции же Морелле она допускается *только по одному* основанию. Соответствующее место гласит у Морелле следующим образом:

«Но, если я докажу, что *в обыкновенном состоянии общества* смерть гражданина ни полезна, ни необходима, то я выиграю дело человечества.

Я говорю в обыкновенном состоянии общества, ибо смерть гражданина может быть необходимой *в одном только случае*¹, а именно когда лишенный свободы...»

Далее текст идет, как у Беккариа, *но последние строки абзаца*: «я не вижу никакой необходимости уничтожать гражданина, если только смерть его не будет действительным и единственным средством удержать других от совершения преступления. Вот второе основание, по которому смертная казнь может считаться справедливой и необходимой» — *отсутствуют* в переводе Морелле.

Трудно допустить, чтобы Морелле позволил себе так исказить текст оригинала. Невольно возникает предположение, что перевод вполне соответствовал тексту третьего издания. К сожалению, этого издания не было в нашем распоряжении, и проверить поэтому перевод Морелле невозможно. Вопрос осложняется еще тем, что в первом издании (надо думать, что и во втором) смертная казнь допускалась, как и в пятом издании, по *двум* основаниям. Это мы вправе утверждать, хотя в наших руках не было первого издания, благодаря тому, что Факинеи приводит цитату, вполне соответствующую тексту пятого издания, это же видно и из «Ответа» на памфлет Факинеи.

Предположив, что Морелле не исказил текста оригинала, мы должны тем самым прийти к выводу, что в третьем издании Беккариа почему-то отступил от своего первоначального взгляда и вновь вернулся к нему в пятом издании.

Издание Редерера воспроизводит текст перевода Морелле, но миланское издание 1812 г. и Кантú дают текст в редакции пятого издания. Насколько нам известно, в литературе не было до сих пор обращено внимания на расхождение в вопросе о смертной казни редакций Морелле и Беккариа. Прошел мимо него и Эссельборн.

Все это показывает лишний раз, что переводчики, следовавшие, по их мнению, «редакции Морелле», в действительности исходили из текста миланского издания 1812 г., довольно произвольно, как мы видим, скомпонованного сыном Беккариа Джулио.

¹ Курсив наш.

Чезаре Беккариа

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ

Оригинал-макет подготовлен
Издательским Домом «ИНФРА-М»

ЛР № 070824 от 21.01.93 г.

Сдано в набор 10.01.2004. Подписано в печать 17.05.2004.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Newton».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,0. Уч.-изд. л. 12,89.
Тираж 3000 экз. Заказ № 0407040.

Издательский Дом «ИНФРА-М»
127214, Москва, Дмитровское ш., 107
Тел.: (095) 485-71-77.
Факс: (095) 485-53-18.
E-mail: books@infra-m.ru
<http://www.infra-m.ru>

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

